# Гиляровский Владимир
# Легенды мрачной Москвы (сборник)

## Хитровка

Хитров рынок почему-то в моем воображении рисовался Лондоном, которого я никогда не видел.

Лондон мне всегда представлялся самым туманным местом в Европе, а Хитров рынок, несомненно, самым туманным местом в Москве.

Большая площадь в центре столицы, близ реки Яузы, окруженная облупленными каменными домами, лежит в низине, в которую спускаются, как ручьи в болото, несколько переулков. Она всегда курится. Особенно к вечеру. А чуть-чуть туманно или после дождя поглядишь сверху, с высоты переулка – жуть берет свежего человека: облако село! Спускаешься по переулку в шевелящуюся гнилую яму.

В тумане двигаются толпы оборванцев, мелькают около туманных, как в бане, огоньков. Это торговки съестными припасами сидят рядами на огромных чугунах или корчагах с «тушенкой», жареной протухлой колбасой, кипящей в железных ящиках над жаровнями, с бульонкой, которую больше называют «собачья радость»…

Хитровские «гурманы» любят лакомиться объедками. «А ведь это был рябчик!» – смакует какой-то «бывший». А кто попроще – ест тушеную картошку с прогорклым салом, щековину, горло, легкое и завернутую рулетом коровью требуху с непромытой зеленью содержимого желудка – рубец, который здесь зовется «рябчик».

А кругом пар вырывается клубами из отворяемых поминутно дверей лавок и трактиров и сливается в общий туман, конечно, более свежий и ясный, чем внутри трактиров и ночлежных домов, дезинфицируемых только махорочным дымом, слегка уничтожающим запах прелых портянок, человеческих испарений и перегорелой водки.

Двух– и трехэтажные дома вокруг площади все полны такими ночлежками, в которых ночевало и ютилось до десяти тысяч человек. Эти дома приносили огромный барыш домовладельцам. Каждый ночлежник платил пятак за ночь, а «номера» ходили по двугривенному. Под нижними нарами, поднятыми на аршин от пола, были логовища на двоих; они разделялись повешенной рогожей. Пространство в аршин высоты и полтора аршина ширины между двумя рогожами и есть «нумер», где люди ночевали без всякой подстилки, кроме собственных отрепьев…

На площадь приходили прямо с вокзалов артели приезжих рабочих и становились под огромным навесом, для них нарочно выстроенным. Сюда по утрам являлись подрядчики и уводили нанятые артели на работу. После полудня навес поступал в распоряжение хитрованцев и барышников: последние скупали все, что попало. Бедняки, продававшие с себя платье и обувь, тут же снимали их и переодевались вместо сапог в лапти или опорки, а из костюмов – в «сменку до седьмого колена», сквозь которую тело видно…

Дома, где помещались ночлежки, назывались по фамилии владельцев: Бунина, Румянцева, Степанова (потом Ярошенко) и Ромейко (потом Кулакова). В доме Румянцева были два трактира – «Пересыльный» и «Сибирь», а в доме Ярошенко – «Каторга». Названия, конечно, негласные, но у хитрованцев они были приняты. В «Пересыльном» собирались бездомники, нищие и барышники, в «Сибири» – степенью выше – воры, карманники и крупные скупщики краденого, а выше всех была «Каторга» – притон буйного и пьяного разврата, биржа воров и беглых. «Обратник», вернувшийся из Сибири или тюрьмы, не миновал этого места. Прибывший, если он действительно «деловой», встречался здесь с почетом. Его тотчас же «ставили на работу».

Полицейские протоколы подтверждали, что большинство беглых из Сибири уголовных арестовывалось в Москве именно на Хитровке.

Мрачное зрелище представляла собой Хитровка в прошлом столетии. В лабиринте

коридоров и переходов, на кривых полуразрушенных лестницах, ведущих в ночлежки всех этажей, не было никакого освещения. Свой дорогу найдет, а чужому незачем сюда соваться! И действительно, никакая власть не смела сунуться в эти мрачные бездны.

Всем Хитровым рынком заправляли двое городовых – Рудников и Лохматкин. Только их пудовых кулаков действительно боялась «шпана», а «деловые ребята» были с обоими представителями власти в дружбе и, вернувшись с каторги или бежав из тюрьмы, первым делом шли к ним на поклон. Тот и другой знали в лицо всех преступников, приглядевшись к ним за четверть века своей несменяемой службы. Да и никак не скроешься от них: все равно свои донесут, что в такую-то квартиру вернулся такой-то.

Стоит на посту властитель Хитровки, сосет трубку и видит – вдоль стены пробирается какая-то фигура, скрывая лицо.

– Болдох! – гремит городовой.

И фигура, сорвав с головы шапку, подходит.

– Здравствуйте, Федот Иванович!

– Откуда?

– Из Нерчинска. Только вчера прихрял. Уж извините пока что…

– То-то, гляди у меня, Сережка, чтоб тихо-мирно, а то…

– Нешто не знаем, не впервой. Свои люди…

А когда следователь по особо важным делам В. Ф. Кейзер спросил Рудникова:

– Правда ли, что ты знаешь в лицо всех беглых преступников на Хитровке и не арестуешь их?

– Вот потому двадцать годов и стою там на посту, а то и дня не простоишь, пришьют! Конечно, всех знаю.

И «благоденствовали» хитрованцы под такой властью. Рудников был тип единственный в своем роде. Он считался даже у беглых каторжников справедливым, и поэтому только не был убит, хотя бит и ранен при арестах бывал не раз. Но не со злобы его ранили, а только спасая свою шкуру. Всякий свое дело делал: один ловил и держал, а другой скрывался и бежал.

Такова каторжная логика.

Боялся Рудникова весь Хитров рынок как огня:

– Попадешься – возьмет!

– Прикажут – разыщет.

За двадцать лет службы городовым среди рвани и беглых у Рудникова выработался особый взгляд на все:

– Ну, каторжник… Ну, вор… нищий… бродяга… Тоже люди, всяк жить хочет. А то что? Один я супротив всех их. Нешто их всех переловишь? Одного пымаешь – другие прибегут… Жить надо!

Во время моих скитаний по трущобам и репортерской работы по преступлениям я часто встречался с Рудниковым и всегда дивился его умению найти след там, где, кажется, ничего нет. Припоминается одна из характерных встреч с ним.

С моим другом, актером Васей Григорьевым, мы были в дождливый сентябрьский вечер у знакомых на Покровском бульваре. Часов в одиннадцать ночи собрались уходить, и тут оказалось, что у Григорьева пропало с вешалки его летнее пальто. По следам оказалось, что вор влез в открытое окно, оделся и вышел в дверь.

– Соседи сработали… С Хитрова. Это уж у нас бывалое дело. Забыли окно запереть! – сказала старая кухарка.

Вася чуть не плачет – пальто новое. Я его утешаю:

– Если хитрованцы, найдем.

Попрощались с хозяевами и пошли в 3-й участок Мясницкой части. Старый, усатый пристав полковник Шидловский имел привычку сидеть в участке до полуночи; мы его застали и рассказали о своей беде.

– Если наши ребята – сейчас достанем. Позвать Рудникова, он дежурный!

Явился огромный атлет, с седыми усами и кулачищами с хороший арбуз. Мы рассказали ему подробно о краже пальто.

– Наши! Сейчас найдем… Вы бы пожаловали со мной, а они пусть подождут. Вы пальто узнаете?

Вася остался ждать, а мы пошли на Хитров в дом Буниных. Рудников вызвал дворника, они пошептались.

– Ну, здесь взять нечего. Пойдем дальше!

Темь. Слякоть. Только окна «Каторги» светятся красными огнями сквозь закоптелые стекла да пар выходит из отворяющейся то и дело двери.

Пришли во двор дома Румянцева и прямо во второй этаж, налево в первую дверь от входа.

– Двадцать шесть! – крикнул кто-то, и все в ночлежке зашевелились.

В дальнем углу отворилось окно, и раздались один за другим три громких удара, будто от проваливающейся железной крыши.

– Каторга сигает! – пояснил мне Рудников и крикнул на всю казарму: – Не бойтесь, дьяволы! Я один, никого не возьму, так зашел…

– Чего ж пугаешь зря! – обиделся рыжий, солдатского вида здоровяк, приготовившийся прыгать из окна на крышу пристройки.

– А вот морду я тебе набью, Степка!

– За что же, Федот Иванович?

– А за то, что я тебе не велел ходить ко мне на Хитров. Где хошь пропадай, а меня не подводи. Тебя ищут… Второй побег. Я не потерплю!..

– Я уйду… Вон «маруха» завела! – И он подмигнул на девицу с синяком под глазом.

– П-пшел! Чтоб я тебя не видел! А кто в окно сиганул? Зеленщик? Эй, Болдоха, отвечай!

Молчание.

– Кто? Я спрашиваю! Чего молчишь? Что я тебе – сыщик, что ли? Ну, Зеленщик? Говори! Ведь я его хромую ногу видел.

Болдоха молчит. Рудников размахивается и влепляет ему жесточайшую пощечину.

Поднимаясь с пола, Болдоха сквозь слезы говорит:

– Сразу бы так и спрашивал. А то канителится… Ну, Зеленщик!

– Черт с ним! Попадется, скажи ему, заберу. Чтоб утекал отсюда. Подводите, дьяволы. Пошлют искать – все одно возьму. Не спрашивают – ваше счастье, ночуйте. Я не за тем. Беги наверх, скажи им, дуракам, чтобы в окна не сигали, а то с третьего этажа убьются еще! А я наверх, он дома?

– Дрыхнет, поди!

Зашли в одну из ночлежек третьего этажа. Там та же история: отворилось окно, и мелькнувшая фигура исчезла в воздухе. Эту ночлежку Болдоха еще не успел предупредить.

Я подбежал к открытому окну. Подо мной зияла глубина двора, и какая-то фигура кралась вдоль стены. Рудников посмотрел вниз.

– А ведь это Степка Махалкин! За то и Махалкиным прозвали, что сигать с крыш мастак. Он?

– Васьки Чуркина брат, Горшок, а не Махалкин, – послышался из-под нар бас-октава.

– Ну, вот он и есть, Махалкин. А это ты, Лавров? Ну-ка вылазь, покажись барину.

– Это наш протодьякон, – сказал Рудников, обращаясь ко мне.

Из-под нар вылез босой человек в грязной женской рубахе с короткими рукавами, открывавшей могучую шею и здоровенные плечи.

– Многая лета Федоту Ивановичу, многая лета! – загремел Лавров, но получив в морду, опять залез под нары.

– Соборным певчим был, семинарист. А вот до чего дошел! Тише вы, дьяволы! – крикнул Рудников, и мы начали подниматься по узкой деревянной лестнице на чердак. Внизу гудело «многая лета».

Поднялись. Темно. Остановились у двери. Рудников попробовал – заперто. Загремел кулачищем так, что дверь задрожала. Молчание. Он застучал еще сильнее. Дверь приотворилась на ширину железной цепочки, и из нее показался съемщик, приемщик краденого.

– Ну, что надо? И кто?

Поднимается кулак, раздается визг, дверь отворяется.

– И что вы деретесь? Я же человек!

– А коли ты человек – где пальто, которое тебе Сашка Пономарь сегодня принес?

– И что вы ночью беспокоите? Никакого пальта мне не приносили.

– Так. Повыдьте-ка отсюда, а мы поищем! – сказал мне Рудников, и, когда за мной затворилась дверь, опять послышались крики.

Потом все смолкло. Рудников вышел и вынес пальто.

– Вот оно! Проклятый черт запрятал в самый нижний сундук и сверху еще пять сундуков поставил.

Таков был Рудников.

Иногда бывали обходы, но это была только видимость обыска: окружат дом, где поспокойнее, наберут «шпаны», а «крупные» никогда не попадались.

А в «Кулаковку» полиция и не совалась.

«Кулаковкой» назывался не один дом, а ряд домов в огромном владении Кулакова между Хитровской площадью и Свиньинским переулком. Лицевой дом, выходивший узким концом на площадь, звали «Утюгом». Мрачнейший за ним ряд трехэтажных зловонных корпусов звался «Сухой овраг», а все вместе – «Свиной дом». Он принадлежал известному коллекционеру Свиньину. По нему и переулок назвали. Отсюда и кличка обитателей: «утюги» и «волки Сухого оврага».

Забирают обходом мелкоту, беспаспортных, нищих и административно высланных. На другой же день их рассортируют: беспаспортных и административных через пересыльную тюрьму отправят в места приписки, в ближайшие уезды, а они через неделю опять в Москве. Придут этапом в какой-нибудь Зарайск, отметятся в полиции и в ту же ночь обратно. Нищие и барышники все окажутся москвичами или из подгородных слобод, и на другой день они опять на Хитровке, за своим обычным делом впредь до нового обхода.

И что им делать в глухом городишке? «Работы» никакой. Ночевать пустить всякий побоится, ночлежек нет, ну и пробираются в Москву и блаженствуют по-своему на Хитровке. В столице можно и украсть, и пострелять милостыньку, и ограбить свежего ночлежника; заманив с улицы или бульвара какого-нибудь неопытного беднягу бездомного, завести в подземный коридор, хлопнуть по затылку и раздеть догола. Только в Москве и житье. Куда им больше деваться с волчьим паспортом: ни тебе «работы», ни тебе ночлега.

Я много лет изучал трущобы и часто посещал Хитров рынок, завел там знакомства, меня не стеснялись и звали «газетчиком».

Многие из товарищей-литераторов просили меня сводить их на Хитров и показать трущобы, но никто не решался войти в «Сухой овраг» и даже в «Утюг». Войдем на крыльцо, спустимся несколько шагов вниз в темный подземный коридор – и просятся назад.

Ни на кого из писателей такого сильного впечатления не производила Хитровка, как на Глеба Ивановича Успенского.

Работая в «Русских ведомостях», я часто встречался с Глебом Ивановичем. Не раз просиживали мы с ним подолгу и в компании и вдвоем, обедывали и вечера вместе проводили. Как-то Глеб Иванович обедал у меня, и за стаканом вина разговор пошел о трущобах.

– Ах, как бы я хотел посмотреть знаменитый Хитров рынок и этих людей, перешедших «рубикон жизни». Хотел бы, да боюсь. А вот хорошо, если б вместе нам отправиться!

Я, конечно, был очень рад сделать это для Глеба Ивановича, и мы в восьмом часу вечера (это было в октябре) подъехали к Солянке. Оставив извозчика, пешком пошли по грязной площади, окутанной осенним туманом, сквозь который мерцали тусклые окна

трактиров и фонарики торговок-обжорок. Мы остановились на минутку около торговок, к которым подбегали полураздетые оборванцы, покупали зловонную пищу, причем непременно ругались из-за копейки или куска прибавки, и, съев, убегали в ночлежные дома.

Торговки, эти уцелевшие оглодки жизни, засаленные, грязные, сидели на своих горшках, согревая телом горячее кушанье, чтобы оно не простыло, и неистово вопили:

– Л-лап-ш-ша-лапшица! Студень свежий коровий! Оголовье! Свининка-рванинка вар-реная! Эй, кавалер, иди, на грош горла отрежу! – хрипит баба со следами ошибок молодости на конопатом лице.

– Горла, говоришь? А нос у тебя где?

– Нос? На кой мне ляд нос? И запела на другой голос:

– Печенка-селезенка горячая! Рванинка!

– Ну, давай всего на семитку!

Торговка поднимается с горшка, открывает толстую сальную покрышку, грязными руками вытаскивает «рванинку» и кладет покупателю на ладонь.

– Стюдню на копейку! – приказывает нищий в фуражке с подобием кокарды…

– Вот беда! Вот беда! – шептал Глеб Иванович, жадными глазами следил за происходящим и жался боязливо ко мне.

– А теперь, Глеб Иванович, зайдем в «Каторгу», потом в «Пересыльный», в «Сибирь», а затем пройдем по ночлежкам.

– В какую «Каторгу»?

– Так на хитровском жаргоне называется трактир, вот этот самый!

Пройдя мимо торговок, мы очутились перед низкой дверью трактира-низка в доме Ярошенко.

– Заходить ли? – спросил Глеб Иванович, держа меня под руку.

– Конечно!

Я отворил дверь, откуда тотчас же хлынул зловонный пар и гомон. Шум, ругань, драка, звон посуды…

Мы двинулись к столику, но навстречу нам с визгом пронеслась по направлению к двери женщина с окровавленным лицом и вслед за ней – здоровенный оборванец с криком:

– Измордую проклятую!

Женщина успела выскочить на улицу, оборванец был остановлен и лежал уже на полу: его «успокоили». Это было делом секунды.

В облаке пара на нас никто не обратил внимания. Мы сели за пустой грязный столик. Ко мне подошел знакомый буфетчик, будущий миллионер и домовладелец. Я приказал подать полбутылки водки, пару печеных яиц на закуску – единственное, что я требовал в трущобах.

Я протер чистой бумагой стаканчики, налил водки, очистил яйцо и чокнулся с Глебом Ивановичем, руки которого дрожали, а глаза выражали испуг и страдание.

Я выпил один за другим два стакана, съел яйцо, а он все сидит и смотрит.

– Да пейте же!

Он выпил и закашлялся.

– Уйдем отсюда… Ужас!

Я заставил его очистить яйцо. Выпили еще по стаканчику.

– Кто же это там?

За средним столом, обнявшись с пьяной девицей, сидел угощавший ее парень, наголо остриженный брюнет с перебитым носом.

Перед ним, здоровенный, с бычьей шеей и толстым бабьим лицом, босой, в хламиде наподобие рубахи, орал громоподобным басом «многая лета» бывший вышибала-пропойца.

Я объясняю Глебу Ивановичу, что это «фартовый» гуляет. А он все просит меня:

– Уйдем.

Расплатились, вышли.

– Позвольте пройти, – вежливо обратился Глеб Иванович к стоящей на тротуаре против

двери на четвереньках мокрой от дождя и грязи бабе.

– Пошел в… Вишь, полон полусапожек…

И пояснила дальше хриплая и гнусавая баба историю с полусапожком, приправив крепким словом. Пыталась встать, но, не выдержав равновесия, шлепнулась в лужу. Глеб Иванович схватил меня за руку и потащил на площадь, уже опустевшую и покрытую лужами, в которых отражался огонь единственного фонаря.

– И это перл творения – женщина! – думал вслух Глеб Иванович.

Мы шли. Нас остановил мрачный оборванец и протянул руку за подаянием. Глеб Иванович полез в карман, но я задержал его руку и, вынув рублевую бумажку, сказал хитрованцу:

– Мелочи нет, ступай в лавочку, купи за пятак папирос, принеси сдачу, и я тебе дам на ночлег.

– Сейчас сбегаю! – буркнул человек, зашлепал опорками по лужам, по направлению к одной из лавок, шагах в пятидесяти от нас, и исчез в тумане.

– Смотри, сюда неси папиросы, мы здесь подождем! – крикнул я ему вслед.

– Ладно, – послышалось из тумана. Глеб Иванович стоял и хохотал.

– В чем дело? – спросил я.

– Ха-ха-ха, ха-ха-ха! Так он и принес сдачу. Да еще папирос! Ха-ха-ха!

Я в первый раз слышал такой смех у Глеба Ивановича.

Но не успел он еще как следует нахохотаться, как зашлепали по лужам шаги, и мой посланный, задыхаясь, вырос перед нами и открыл громадную черную руку, на которой лежали папиросы, медь и сверкало серебро.

– Девяносто сдачи. Пятак себе взял. Вот и «Заря», десяток.

– Нет, постой, что же это? Ты принес? – спросил Глеб Иванович.

– А как же не принести? Что я, сбегу, что ли, с чужими-то деньгами. Нешто я… – уверенно выговорил оборванец.

– Хорошо… хорошо, – бормотал Глеб Иванович. Я отдал оборванцу медь, а серебро и папиросы хотел взять, но Глеб Иванович сказал:

– Нет, нет, все ему отдай… Все. За его удивительную честность. Ведь это…

Я отдал оборванцу всю сдачу, а он сказал удивленно вместо спасибо только одно:

– Чудаки господа! Нешто я украду, коли поверили?

– Пойдем! Пойдем отсюда… Лучшего нигде не увидим. Спасибо тебе! – обернулся Глеб Иванович к оборванцу, поклонился ему и быстро потащил меня с площади. От дальнейшего осмотра ночлежек он отказался.

Многих из товарищей-писателей водил я по трущобам, и всегда благополучно. Один раз была неудача, но совершенно особого характера. Тот, о ком я говорю, был человек смелости испытанной, не побоявшийся ни «Утюга», ни «волков Сухого оврага», ни трактира «Каторга», тем более, что он знал и настоящую сибирскую каторгу. Словом, это был не кто иной, как знаменитый П.Г. Зайчневский, тайно пробравшийся из места ссылки на несколько дней в Москву. Как раз накануне Глеб Иванович рассказал ему о нашем путешествии, и он весь загорелся. Да и мне весело было идти с таким подходящим товарищем. Около полуночи мы быстро шагали по Свиньинскому переулку, чтобы прямо попасть в «Утюг», где продолжалось пьянство после «Каторги», закрывавшейся в одиннадцать часов. Вдруг солдатский шаг: за нами, вынырнув с Солянки, шагал взвод городовых. Мы поскорее на площадь, а там из всех переулков стекаются взводами городовые и окружают дома: облава на ночлежников.

Дрогнула рука моего спутника:

– Черт знает… Это уже хужее!

– Не бойся, Петр Григорьевич, шагай смелее!..

Мы быстро пересекли площадь. Подколокольный переулок, единственный, где не было полиции, вывел нас на Яузский бульвар. А железо на крышах домов уже гремело. Это «серьезные элементы» выбирались через чердаки на крышу и пластами укладывались около

труб, зная, что сюда полиция не полезет…

Петр Григорьевич на другой день в нашей компании смеялся, рассказывая, как его испугали толпы городовых. Впрочем, было не до смеху: вместо кулаковской «Каторги» он рисковал попасть опять в нерчинскую!

В «Кулаковку» даже днем опасно ходить – коридоры темные, как ночью. Помню, как-то я иду подземным коридором «Сухого оврага», чиркаю спичку и вижу – ужас! – из каменной стены, из гладкой каменной стены вылезает голова живого человека. Я остановился, а голова орет:

– Гаси, дьявол, спичку-то! Ишь шляются!

Мой спутник задул в моей руке спичку и потащил меня дальше, а голова еще что-то бурчала вслед.

Это замаскированный вход в тайник под землей, куда не то что полиция – сам черт не полезет.

В восьмидесятых годах я был очевидцем такой сцены в доме Ромейко.

Зашел я как-то в летний день, часа в три, в «Каторгу». Разгул уже был в полном разгаре. Сижу с переписчиком ролей Кириным. Кругом, конечно, «коты» с «марухами». Вдруг в дверь влетает «кот» и орет:

– Эй, вы, зеленые ноги! Двадцать шесть!

Все насторожились и навострили лыжи, но ждут объяснения.

– В «Утюге» кого-то пришили. За полицией побежали…

– Гляди, сюда прихондорят!

Первым выбежал здоровенный брюнет. Из-под нахлобученной шапки виднелся затылок, правая половина которого обросла волосами много короче, чем левая. В те времена каторжным еще брили головы, и я понял, что ему надо торопиться. Выбежало еще человек с пяток, оставив «марух» расплачиваться за угощение.

Я заинтересовался и бросился в дом Ромейко, в дверь с площади. В квартире второго этажа, среди толпы, в луже крови лежал человек лицом вниз, в одной рубахе, обутый в лакированные сапоги с голенищами гармоникой. Из спины, под левой лопаткой, торчал нож, всаженный вплотную. Я никогда таких ножей не видал: из тела торчала большая, причудливой формы, медная блестящая рукоятка.

Убитый был «кот». Убийца – мститель за женщину. Его так и не нашли – знали, да не сказали, говорили: «хороший человек».

Пока я собирал нужные для газеты сведения, явилась полиция, пристав и местный доктор, общий любимец Д.П. Кувшинников.

– Ловкий удар! Прямо в сердце, – определил он. Стали писать протокол. Я подошел к столу, разговариваю с Д.П. Кувшинниковым, с которым меня познакомил Антон Павлович Чехов.

– Где нож? Нож где? Полиция засуетилась.

– Я его сам сию минуту видел. Сам видел! – кричал пристав.

После немалых поисков нож был найден: его во время суматохи кто-то из присутствовавших вытащил и заложил за полбутылки в соседнем кабаке.

Чище других был дом Бунина, куда вход был не с площади, а с переулка. Здесь жило много постоянных хитрованцев, существовавших поденной работой вроде колки дров и очистки снега, а женщины ходили на мытье полов, уборку, стирку как поденщицы.

Здесь жили профессионалы-нищие и разные мастеровые, отрущобившиеся окончательно. Больше портные, их звали «раками», потому что они, голые, пропившие последнюю рубаху, из своих нор никогда и никуда не выходили. Работали день и ночь, перешивая тряпье для базара, вечно с похмелья, в отрепьях, босые.

А заработок часто бывал хороший. Вдруг в полночь вваливаются в «рачью» квартиру воры с узлами. Будят.

– Эй, вставай, ребята, на работу! – кричит разбуженный съемщик.

Из узлов вынимают дорогие шубы, лисьи ротонды и гору разного платья. Сейчас

начинается кройка и шитье, а утром являются барышники и охапками несут на базар меховые шапки, жилеты, картузы, штаны.

Полиция ищет шубы и ротонды, а их уже нет: вместо них – шапки и картузы.

Главную долю, конечно, получает съемщик, потому что он покупатель краденого, а нередко и атаман шайки.

Но самый большой и постоянный доход давала съемщикам торговля вином. Каждая квартира – кабак. В стенах, под полом, в толстых ножках столов – везде были склады вина, разбавленного водой, для своих ночлежников и для их гостей. Неразбавленную водку днем можно было получить в трактирах и кабаках, а ночью торговал водкой в запечатанной посуде «шланбой».

В глубине бунинского двора был тоже свой «шланбой». Двор освещался тогда одним тусклым керосиновым фонарем. Окна от грязи не пропускали света, и только одно окно «шланбоя», с белой занавеской, было светлее других. Подходят кому надо к окну, стучат. Открывается форточка. Из-за занавесочки высовывается рука ладонью вверх. Приходящий кладет молча в руку полтинник. Рука исчезает и через минуту появляется снова с бутылкой смирновки, и форточка захлопывается. Одно дело – слов никаких. Тишина во дворе полная. Только с площади слышатся пьяные песни да крики «караул». Но никто не пойдет на помощь. Разденут, разуют и голым пустят. То и дело в переулках и на самой площади поднимали трупы убитых и ограбленных донага. Убитых отправляли в Мясницкую часть для судебного вскрытия, а иногда – в университет.

Помню, как-то я зашел в анатомический театр к профессору И.И. Нейдингу и застал его читающим лекцию студентам. На столе лежал труп, поднятый на Хитровом рынке. Осмотрев труп, И.И. Нейдинг сказал:

– Признаков насильственной смерти нет. Вдруг из толпы студентов вышел старый сторож при анатомическом театре, знаменитый Волков, нередко помогавший студентам препарировать, что он делал замечательно умело.

– Иван Иванович, – сказал он, – что вы, признаков нет! Посмотрите-ка, ему в «лигаментум-нухе» насыпали! – Повернул труп и указал перелом шейного позвонка. – Нет уж, Иван Иванович, не было случая, чтобы с Хитровки присылали не убитых.

Много оставалось круглых сирот из рожденных на Хитровке. Вот одна из сценок восьмидесятых годов.

В туманную осеннюю ночь во дворе дома Буниных люди, шедшие к «шланбою», услыхали стоны с помойки. Увидели женщину, разрешавшуюся ребенком.

Дети в Хитровке были в цене: их сдавали с грудного возраста в аренду, чуть не с аукциона, нищим. И грязная баба, нередко со следами ужасной болезни, брала несчастного ребенка, совала ему в рот соску из грязной тряпки с нажеванным хлебом и тащила его на холодную улицу. Ребенок, целый день мокрый и грязный, лежал у нее на руках, отравляясь соской, и стонал от холода, голода и постоянных болей в желудке, вызывая участие у прохожих к «бедной матери несчастного сироты». Бывали случаи, что дитя утром умирало на руках нищей, и она, не желая потерять день, ходила с ним до ночи за подаянием. Двухлетних водили за ручку, а трехлеток уже сам приучался «стрелять».

На последней неделе великого поста грудной ребенок «покрикастее» ходил по четвертаку в день, а трехлеток – по гривеннику. Пятилетки бегали сами и приносили тятькам, мамкам, дяденькам и тетенькам «на пропой души» гривенник, а то и пятиалтынный. Чем больше становились дети, тем больше с них требовали родители и тем меньше им подавали прохожие.

Нищенствуя, детям приходилось снимать зимой обувь и отдавать ее караульщику за углом, а самим босиком метаться по снегу около выходов из трактиров и ресторанов. Приходилось добывать деньги всеми способами, чтобы дома, вернувшись без двугривенного, не быть избитым. Мальчишки, кроме того, стояли «на стреме», когда взрослые воровали, и в то же время сами подучивались у взрослых «работе».

Бывало, что босяки, рожденные на Хитровке, на ней и доживали до седых волос,

исчезая временно на отсидку в тюрьму или дальнюю ссылку. Это мальчики.

Положение девочек было еще ужаснее.

Им оставалось одно: продавать себя пьяным развратникам. Десятилетние пьяные проститутки были не редкость.

Они ютились больше в «вагончике». Это был крошечный одноэтажный флигелек в глубине владения Румянцева. В первой половине восьмидесятых годов там появилась и жила подолгу красавица, которую звали «княжна». Она исчезала на некоторое время из Хитровки, попадая за свою красоту то на содержание, то в «шикарный» публичный дом, но всякий раз возвращалась в «вагончик» и пропивала все свои сбережения. В «Каторге» она распевала французские шансонетки, танцевала модный тогда танец качучу.

В числе ее «ухажеров» был Степка Махалкин, родной брат известного гуслицкого разбойника Васьки Чуркина, прославленного даже в романе его имени.

Но Степка Махалкин был почище своего брата и презрительно называл его:

– Васька-то? Пустельга! Портяночник!

Как-то полиция арестовала Степку и отправила в пересыльную, где его заковали в кандалы. Смотритель предложил ему:

– Хочешь, сниму кандалы, только дай слово не бежать.

– Ваше дело держать, а наше дело бежать! А слова тебе не дам. Наше слово крепко, а я уже дал одно слово.

Вскоре он убежал из тюрьмы, перебравшись через стену.

И прямо – в «вагончик», к «княжне», которой дал слово, что придет. Там произошла сцена ревности. Махалкин избил «княжну» до полусмерти. Ее отправили в Павловскую больницу, где она и умерла от побоев.

В адресной книге Москвы за 1826 год в списке домовладельцев значится: «Свиньин, Павел Петрович, статский советник, по Певческому переулку, дом № 24, Мясницкой части, на углу Солянки».

Свиньин воспет Пушкиным: «Вот и Свиньин, Российский Жук». Свиньин был человек известный: писатель, коллекционер и владелец музея. Впоследствии город переименовал Певческий переулок в Свиньинский.

На другом углу Певческого переулка, тогда выходившего на огромный, пересеченный оврагами, заросший пустырь, постоянный притон бродяг, прозванный «вольным местом», как крепость, обнесенная забором, стоял большой дом со службами генерал-майора Николая Петровича Хитрова, владельца пустопорожнего «вольного места» вплоть до нынешних Яузского и Покровского бульваров, тогда еще носивших одно название: «бульвар Белого города». На этом бульваре, как значилось в той же адресной книге, стоял другой дом генерал-майора Хитрова, № 39. Здесь жил он сам, а в доме № 24, на «вольном месте», жила его дворня, были конюшни, погреба и подвалы. В этом громадном владении и образовался Хитров рынок, названный так в честь владельца этой дикой усадьбы.

В 1839 году умер Свиньин, и его обширная усадьба и барские палаты перешли к купцам Расторгуевым, владевшим ими вплоть до Октябрьской революции.

Дом генерала Хитрова приобрел Воспитательный дом для квартир своих чиновников и перепродал его уже во второй половине прошлого столетия инженеру Ромейко, а пустырь, все еще населенный бродягами, был куплен городом для рынка. Дом требовал дорогого ремонта. Его окружение не вызывало охотников снимать квартиры в таком опасном месте, и Ромейко пустил его под ночлежки: и выгодно, и без всяких расходов.

Страшные трущобы Хитровки десятки лет наводили ужас на москвичей.

Десятки лет и печать, и дума, и администрация, вплоть до генерал-губернатора, тщетно принимали меры, чтобы уничтожить это разбойное логово.

С одной стороны близ Хитровки – торговая Солянка с Опекунским советом, с другой – Покровский бульвар и прилегающие к нему переулки были заняты богатейшими особняками русского и иностранного купечества. Тут и Савва Морозов, и Корзинкины, и Хлебниковы, и

Оловянишниковы, и Расторгуевы, и Бахрушины… Владельцы этих дворцов возмущались страшным соседством, употребляли все меры, чтобы уничтожить его, но ни речи, гремевшие в угоду им в заседаниях думы, ни дорого стоящие хлопоты у администрации ничего сделать не могли. Были какие-то тайные пружины, отжимавшие все их нападающие силы, – и ничего не выходило. То у одного из хитровских домовладельцев рука в думе, то у другого – друг в канцелярии генерал-губернатора, третий сам занимает важное положение в делах благотворительности.

И только советская власть одним постановлением Моссовета смахнула эту не излечимую при старом строе язву и в одну неделю в 1923 году очистила всю площадь с окружающими ее вековыми притонами, в несколько месяцев отделала под чистые квартиры недавние трущобы и заселила их рабочим и служащим людом. Самую же главную трущобу «Кулаковку» с ее подземными притонами в «Сухом овраге» по Свиньинскому переулку и огромным «Утюгом» срыла до основания и заново застроила. Все те же дома, но чистые снаружи… Нет заткнутых бумагой или тряпками или просто разбитых окон, из которых валит пар и несется пьяный гул… Вот дом Орлова – квартиры нищих-профессионалов и место ночлега новичков, еще пока ищущих поденной работы… Вот рядом огромные дома Румянцева, в которых было два трактира – «Пересыльный» и «Сибирь», а далее, в доме Степанова, трактир «Каторга», когда-то принадлежавший знаменитому укрывателю беглых и разбойников Марку Афанасьеву, а потом перешедший к его приказчику Кулакову, нажившему состояние на насиженном своим старым хозяином месте.

И в «Каторге» нет теперь двери, из которой валил, когда она отворялась, пар и слышались дикие песни, звон посуды и вопли поножовщины. Рядом с ним дом Буниных – тоже теперь сверкает окнами… На площади не толпятся тысячи оборванцев, не сидят на корчагах торговки, грязные и пропахшие тухлой селедкой и разлагающейся бульонкой и требухой. Идет чинно народ, играют дети… А еще совсем недавно круглые сутки площадь мельтешилась толпами оборванцев. Под вечер метались и галдели пьяные со своими «марухами». Не видя ничего перед собой, шатались нанюхавшиеся «марафету» кокаинисты обоих полов и всех возрастов. Среди них были рожденные и выращенные здесь же подростки-девочки и полуголые «огольцы» – их кавалеры.

«Огольцы» появлялись на базарах, толпой набрасывались на торговок и, опрокинув лоток с товаром, а то и разбив палатку, расхватывали товар и исчезали врассыпную.

Степенью выше стояли «поездошники», их дело – выхватывать на проездах бульваров, в глухих переулках и на темных вокзальных площадях из верха пролетки саки и чемоданы… За ними «фортачи», ловкие и гибкие ребята, умеющие лазить в форточку, и «ширмачи», бесшумно лазившие по карманам у человека в застегнутом пальто, заторкав и затырив его в толпе. И по всей площади – нищие, нищие… А по ночам из подземелий «Сухого оврага» выползали на фарт «деловые ребята» с фомками и револьверами… Толкались и «портяночники», не брезговавшие сорвать шапку с прохожего или у своего же хитрована-нищего отнять суму с куском хлеба.

Ужасные иногда были ночи на этой площади, где сливались пьяные песни, визг избиваемых «марух» да крики «караул». Но никто не рисковал пойти на помощь: раздетого и разутого голым пустят да еще изобьют за то, чтобы не лез куда не следует.

Полицейская будка ночью была всегда молчалива – будто ее и нет. В ней лет двадцать с лишком губернаторствовал городовой Рудников, о котором уже рассказывалось. Рудников ночными бездоходными криками о помощи не интересовался и двери в будке не отпирал.

Раз был такой случай. Запутался по пьяному делу на Хитровке сотрудник «Развлечения» Епифанов, вздумавший изучать трущобы. Его донага раздели на площади. Он – в будку. Стучит, гремит, «караул» кричит. Да так голый домой и вернулся. На другой день, придя в «Развлечение» просить аванс по случаю ограбления, рассказывал финал своего путешествия: огромный будочник, босой и в одном белье, которому он назвался дворянином, выскочил из будки, повернул его к себе спиной и гаркнул: «Всякая сволочь по ночам будет беспокоить!» – и так наподдал ногой – спасибо, что еще босой был, – что Епифанов отлетел

далеко в лужу…

Никого и ничего не боялся Рудников. Даже сам Кулаков, со своими миллионами, которого вся полиция боялась, потому что «с Иваном Петровичем генерал-губернатор за ручку здоровался», для Рудникова был ничто. Он прямо являлся к нему на праздник и, получив от него сотенную, гремел:

– Ванька, ты шутишь, что ли? Аль забыл? А?..

Кулаков, принимавший поздравителей в своем доме, в Свиньинском переулке, в мундире с орденами, вспоминал что-то, трепетал и лепетал:

– Ах, извините, дорогой Федот Иваныч. И давал триста.

Давно нет ни Рудникова, ни его будки.

Дома Хитровского рынка были разделены на квартиры – или в одну большую, или в две-три комнаты, с нарами, иногда двухэтажными, где ночевали бездомники без различия пола и возраста. В углу комнаты – каморка из тонких досок, а то просто ситцевая занавеска, за которой помещаются хозяин с женой. Это всегда какой-нибудь «пройди свет» из отставных солдат или крестьян, но всегда с «чистым» паспортом, так как иначе нельзя получить право быть съемщиком квартиры. Съемщик никогда не бывал одинокий, всегда вдвоем с женой и никогда – с законной. Законных жен съемщики оставляли в деревне, а здесь заводили сожительниц, аборигенок Хитровки, нередко беспаспортных…

У каждого съемщика своя публика: у кого грабители, у кого воры, у кого «рвань коричневая», у кого просто нищая братия.

Где нищие, там и дети – будущие каторжники. Кто родился на Хитровке и ухитрился вырасти среди этой ужасной обстановки, тот кончит тюрьмой. Исключения редки.

Самый благонамеренный элемент Хитровки – это нищие. Многие из них здесь родились и выросли; и если по убожеству своему и никчемности они не сделались ворами и разбойниками, а так и остались нищими, то теперь уж ни на что не променяют своего ремесла.

Это не те нищие, случайно потерявшие средства к жизни, которых мы видели на улицах: эти наберут едва-едва на кусок хлеба или на ночлег. Нищие Хитровки были другого сорта.

В доме Румянцева была, например, квартира «странников». Здоровеннейшие, опухшие от пьянства детины с косматыми бородами; сальные волосы по плечам лежат, ни гребня, ни мыла они никогда не видывали. Это монахи небывалых монастырей, пилигримы, которые век свой ходят от Хитровки до церковной паперти или до замоскворецких купчих и обратно.

После пьяной ночи такой страховидный дядя вылезает из-под нар, просит в кредит у съемщика стакан сивухи, облекается в страннический подрясник, за плечи ранец, набитый тряпьем, на голову скуфейку и босиком, иногда даже зимой по снегу, для доказательства своей святости, шагает за сбором.

И чего-чего только не наврет такой «странник» темным купчихам, чего только не всучит им для спасения души! Тут и щепочка от гроба господня, и кусочек лестницы, которую праотец Иаков во сне видел, и упавшая с неба чека от колесницы Ильи-пророка.

Были нищие, собиравшие по лавкам, трактирам и торговым рядам. Их «служба» – с десяти утра до пяти вечера. Эта группа и другая, называемая «с ручкой», рыскающая по церквам, – самые многочисленные. В последней – бабы с грудными детьми, взятыми напрокат, а то и просто с поленом, обернутым в тряпку, которое они нежно баюкают, прося на бедного сиротку. Тут же настоящие и поддельные слепцы и убогие.

А вот – аристократы. Они жили частью в доме Орлова, частью в доме Бунина. Среди них имелись и чиновники, и выгнанные со службы офицеры, и попы-расстриги.

Они работали коллективно, разделив московские дома на очереди. Перед ними адрес-календарь Москвы. Нищий-аристократ берет, например, правую сторону Пречистенки с переулками и пишет двадцать писем-слезниц, не пропустив никого, в двадцать домов, стоящих внимания. Отправив письмо, на другой день идет по адресам. Звонит в парадное крыльцо: фигура аристократическая, костюм, взятый напрокат, приличный. На вопрос

швейцара говорит:

– Вчера было послано письмо по городской почте, так ответа ждут.

Выносят пакет, а в нем бумажка от рубля и выше.

В надворном флигеле дома Ярошенко квартира № 27 называлась «писучей» и считалась самой аристократической и скромной на всей Хитровке. В восьмидесятых годах здесь жили даже «князь с княгиней», слепой старик с беззубой старухой женой, которой он диктовал, иногда по-французски, письма к благодетелям, своим старым знакомым, и получал иногда довольно крупные подачки, на которые подкармливал голодных переписчиков. Они звали его «ваше сиятельство» и относились к нему с уважением. Его фамилия была Львов, по документам он значился просто дворянином, никакого княжеского звания не имел; в князья его произвели переписчики, а затем уж и остальная Хитровка. Он и жена – запойные пьяницы, но когда были трезвые, держали себя очень важно и на вид были весьма представительны, хотя на «князе» было старое тряпье, а на «княгине» – бурнус, зачиненный разноцветными заплатами.

Однажды приехали к ним родственники откуда-то с Волги и увезли их, к крайнему сожалению переписчиков и соседей-нищих.

Проживал там также горчайший пьяница, статский советник, бывший мировой судья, за что хитрованцы, когда-то не раз судившиеся у него, прозвали его «цепной», намекая на то, что судьи при исполнении судебных обязанностей надевали на шею золоченую цепь.

Рядом с ним на нарах спал его друг Добронравов, когда-то подававший большие надежды литератор. Он печатал в мелких газетах романы и резкие обличительные фельетоны. За один из фельетонов о фабрикантах он был выслан из Москвы по требованию этих фабрикантов. Добронравов берег у себя, как реликвию, наклеенную на папку вырезку из газеты, где был напечатан погубивший его фельетон под заглавием «Раешник». Он прожил где-то в захолустном городишке на глубоком севере несколько лет, явился в Москву на Хитров и навсегда поселился в этой квартире. На вид он был весьма представительный и в минуты трезвости говорил так, что его можно было заслушаться.

Вот за какие строки автор «Раешника» был выслан из Москвы:

«…Пожалте сюда, поглядите-ка. Хитра купецкая политика. Не хлыщ, не франт, а мильонщик-фабрикант, попить, погулять охочий на каторжный труд, на рабочий. Видом сам авантажный, вывел корпус пятиэтажный, ткут, снуют да мотают, тысячи людей на него одного работают. А народ-то фабричный, ко всякой беде привычный, кости да кожа, да испитая рожа. Плохая кормежка да рваная одежка. И подводит живот да бока у рабочего паренька.

Сердешные!

А директора беспечные по фабрике гуляют, на стороне не дозволяют покупать продукты: примерно, хочешь лук ты – посылай сынишку забирать на книжку в заводские лавки, там, мол, без надбавки!

Дешево и гнило!

А ежели нутро заговорило, не его, вишь, вина, требует вина, тоже дело – табак, опять беги в фабричный кабак, хозяйское пей, на другом будешь скупей. А штучка не мудра, дадут в долг и полведра.

А в городе хозяин вроде как граф, на пользу ему и штраф, да на прибыль и провизия – кругом, значит, в ремизе я. А там на товар процент, куда ни глянь, все дивидент. Нигде своего не упустим, такого везде „Петра Кириллова“ запустим. Лучше некуда!»

Рядом с «писучей» ночлежкой была квартира «подшибал». В старое время типографщики наживали на подшибалах большие деньги. Да еще говорили, что благодеяние делают: «Куда ему, голому да босому, деваться! Что ни дай – все пропьет!»

Разрушение «Свиного дома», или «Утюга», а вместе с ним и всех флигелей «Кулаковки» началось с первых дней революции. В 1917 году ночлежники «Утюга» все, как один, наотрез отказались платить съемщикам квартир за ночлег, и съемщики, видя, что

жаловаться некому, бросили все и разбежались по своим деревням. Тогда ночлежники первым делом разломали каморки съемщиков, подняли доски пола, где разыскали целые склады бутылок с водкой, а затем и самые стенки каморок истопили в печках. За ночлежниками явились учреждения и все деревянное, до решетника крыши, увезли тоже на дрова. В домах без крыш, окон и дверей продолжал ютиться самый оголтелый люд. Однако подземные тайники продолжали оставаться нетронутыми. «Деловые» по-прежнему выходили на фарт по ночам. «Портяночники» – днем и в сумерки. Первые делали набеги вдали от своей «хазы», вторые грабили в потемках пьяных и одиночек и своих же нищих, появлявшихся вечером на Хитровской площади, а затем разграбили и лавчонки на Старой площади.

Это было голодное время гражданской войны, когда было не до Хитровки.

По Солянке было рискованно ходить с узелками и сумками даже днем, особенно женщинам: налетали хулиганы, выхватывали из рук узелки и мчались в Свиньинский переулок, где на глазах преследователей исчезали в безмолвных грудах кирпичей. Преследователи останавливались в изумлении – и вдруг в них летели кирпичи. Откуда – неизвестно… Один, другой… Иногда проходившие видели дымок, вьющийся из мусора.

– Утюги кашу варят!

По вечерам мельтешились тени. Люди с чайниками и ведерками шли к реке и возвращались тихо: воду носили.

Но пришло время – и Моссовет в несколько часов ликвидировал Хитров рынок.

Совершенно неожиданно весь рынок был окружен милицией, стоявшей во всех переулках и у ворот каждого дома. С рынка выпускали всех – на рынок не пускали никого. Обитатели были заранее предупреждены о предстоящем выселении, но никто из них и не думал оставлять свои «хазы».

Милиция, окружив дома, предложила немедленно выселяться, предупредив, что выход свободный, никто задержан не будет, и дала несколько часов сроку, после которого «будут приняты меры». Только часть нищих-инвалидов была оставлена в одном из надворных флигелей «Румянцевки»…

Штурман дальнего плавания.

Был в начале восьмидесятых годов в Москве очень крупный актер и переводчик Сарду Н.П. Киреев. Он играл в Народном театре на Солянке и в Артистическом кружке. Его сестра, О.П. Киреева, – оба они были народники – служила акушеркой в Мясницкой части, была любимицей соседних трущоб Хитрова рынка, где ее все звали по имени и отчеству; много восприняла она в этих грязных ночлежках будущих нищих и воров, особенно, если, по несчастью, дети родились от матерей замужних, считались законными, а потому и не принимались в воспитательный дом, выстроенный исключительно для незаконнорожденных и подкидышей. Врачом полицейским был такой же, как Ольга Петровна, благодетель хитровской рвани, описанный портретно в рассказе А.П. Чехова «Попрыгунья», – Д.П. Кувшинников, нарочно избравший себе этот участок, чтобы служить бедноте. О.П. Киреева была знакома с нашей семьей, и часто ее маленькая дочка Леля бывала у нас, и мы с женой бывали в ее маленькой квартирке в третьем этаже промозглого грязно-желтого здания, под самой каланчой. Внизу была большая квартира доктора, где я не раз бывал по субботам, где у Софьи Петровны, супруги доктора, страстной поклонницы литераторов и художников, устраивались вечеринки, где читали, рисовали и потом ужинали. Бывал там и А.П. Чехов, и его брат художник Николай, и И. Левитан, – словом, весь наш небольшой кружок «начинающих» и не всегда вкусно сытых молодых будущих…

Как-то днем захожу к Ольге Петровне. Она обмывает в тазике покрытую язвами ручонку двухлетнего ребенка, которого держит на руках грязная нищенка, баба лет сорока. У мальчика совсем отгнили два пальца: средний и безымянный. Мальчик тихо всхлипывал и таращил на меня глаза: правый глаз был зеленый, левый – карий. Баба ругалась: «У, каторжный, дармоедина! Удавить тебя мало».

Я прошел в следующую комнату, где кипел самовар. Вернувшись, Ольга Петровна

рассказала мне обыкновенную хитровскую историю: на помойке ночлежки нашли солдатку-нищенку, где она разрешилась от бремени этим самым младенцем. Когда Ольгу Петровну позвали, мать была уже мертвой. Младенец был законнорожденный, а потому его не приняли в воспитательный дом, а взяла его ночлежница-нищенка и стала с ним ходить побираться. Заснула как-то пьяная на рождество на улице, и отморозил ребенок два пальца, которые долго гнили, а она не лечила – потому подавали больше: высунет он перед прохожим изъязвленную руку… ну и подают сердобольные… А раз Сашка Кочерга наткнулась на полицию, и ее отправили в участок, а оттуда к Ольге Петровне, которая ее знала хорошо, на перевязку.

Плохой, лядащий мальчонок был; до трех лет за грудного выдавала, и раз нарвалась: попросила на улице у проходившего начальника сыскной полиции Эффенбаха помочь грудному ребенку.

– Грудной, говоришь? Что-то велик для грудного… Высунулся малый из тряпок и тычет культяпой ручонкой – будто козу делает…

– А тебе сто за дело?.. Свелось эдакая… Посел к… Кончилось отправлением в участок, откуда малого снесли в ночлежку, а Сашку Кочергу препроводили по характеру болезни в Мясницкую больницу, и больше ее в ночлежке не видали.

Вскоре Коську стали водить нищенствовать за ручку – перевели в «пешие стрелки». Заботился о Коське дедушка Иван, старик ночлежник, который заботился о матери, брал ее с собой на все лето по грибы. Мать умерла, а ребенок родился 22 февраля, почему и окрестил его дедушка Иван Касьяном.

– Касьян праведный! – звал его потом старик за странность характера: он никогда не лгал. И сам старик был такой.

– Правдой надо жить, неправдой не проживешь! – попрекал он Сашку Кочергу, а Коська слушал и внимал.

Три года водил за ручку Коську старик по зимам на церковные паперти, а летом уходил с ним в Сокольники и дальше, в Лосиный остров по грибы и тем зарабатывал пропитание. Тут Коська от него и о своей матери узнал. Она по зимам занималась стиркой в ночлежках, куда приходили письма от мужа ее, солдата, где-то за Ташкентом, а по летам собирала грибы и носила в Охотный. Когда Коське минуло шесть лет, старик умер в больнице. Остался Коська один в ночлежке. Малый бойкий, ловкий и от лесной жизни сильный и выносливый. Стал нищенствовать по ночам у ресторанов «в разувку» – бегает босой по снегу, а за углом у товарища валенки. Потом сошелся с карманниками, стал «работать» на Сухаревке и по вагонам конки, но сам в карманы никогда не лазил, а только был «убегалой», то есть ему передавали кошелек, а он убегал. Ему верили: никогда ни копейки не возьмет. Потом на стреме стал стоять. Но стоило городовому спросить: «Что ты тут делаешь, пащенок?» – он обязательно всю правду ахнет: «Калаулю. Там наши лебята лавку со двола подламывают».

Уж и били его воры за правду, а он все свое. Почему такая правда жила в ребенке – никто не знал. Покойный старик грибник объяснял по-своему эту черту своего любимца:

– Касьяном зову – потому и не врет. Такие в три года один раз родятся… Касьяны все правдивые бывают!..

Коська слышал эти слова его часто и еще правдивее становился…

Умер старик, прогнали Коську из ночлежки, прижился он к подзаборной вольнице, которая шайками ходила по рынкам и ночевала в помойках, в пустых подвалах под Красными воротами, в башнях на Старой площади, а летом в парке и Сокольниках, когда тепло, когда «каждый кустик ночевать пустит».

Любимое место у них было под Сокольниками, на Ширяевом поле, где тогда навезли целые бунты толстенных чугунных труб для готовившейся в Москве канализации. Тут жили и взрослые бродяги, и детвора бездомная. Ежели заглянуть днем во внутренность труб, то там лежат стружки, солома, рогожи, бумага афишная со столбов, тряпье… Это постели ночлежников.

Коська со своей шайкой жил здесь, а потом все «переехали» на Балкан, в подземелья

старого водопровода. Так бродячая детвора, промышлявшая мелким воровством, чтобы кое-как пожрать только, ютилась и существовала. Много их попадало в Рукавишниковский исправительный приют, много их высылали на родину, а шайки росли и росли, пополняемые трущобами, где плодилась нищета, и беглыми мальчишками из мастерских, где подчас жизнь их была невыносима. И кто вынесет побои колодкой по голове от пьяного сапожника и тому подобные способы воспитания, веками внедрявшиеся в обиход тогдашних мастерских, куда приводили из деревень и отдавали мальчуганов по контракту в ученье на года, чтобы с хлеба долой! И не все выносили эту пятилетнюю кабалу впроголодь, в побоях. Целый день полуголодный, босой или в рваных опорках зимой, видит малый на улицах вольных ребятишек и пристает к ним… И бежали в трущобу, потому что им не страшен ни холод, ни голод, ни тюрьма, ни побои… А ночевать в мусорной яме или в подвале ничуть не хуже, чем у хозяина в холодных сенях на собачьем положении… Здесь спи сколько влезет, пока брюхо хлеба не запросит, здесь никто не разбудит до света пинком и руганью:

– Чего дрыхнешь, сволочь! Вставай, дармоедище! – визжит хозяйка.

И десятилетний «дармоедище» начинает свой рабочий день, таща босиком по снегу или грязи на помойку полную лоханку больше себя.

Ольге Петровне еще раз пришлось повидать своего пациента. Он караулил на остановке конки у Страстного и ожидал, когда ему передадут кошелек… Увидал он, как протискивалась на площадку Ольга Петровна, как ее ребята «затырили» и свистнули ее акушерскую сумочку, как она хватилась и закричала отчаянным голосом…

Через минуту Коське передали сумочку, и он убежал с ней стремглав, но не в условленное место, в Поляковский сад на Бронной, где ребята обыкновенно «тырбанили слам», а убежал он по бульварам к Трубе, потом к Покровке, а оттуда к Мясницкой части, где и сел у ворот, в сторонке. Спрятал под лохмотья сумку и ждет. Показывается Ольга Петровна, идет, шатается как-то… Глаза заплаканы… В ворота… По двору… Он за ней, догоняет на узкой лестнице и окликает:

– Ольга Петровна. Остановилась. Спрашивает:

– Ты что, Коська? – А сама плачет…

– Ольга Петровна. Вот ваша сумка, все цело, ни синь пороха не тронуто…

– Это был счастливейший день в моей жизни, во всей моей жизни, – рассказывала она мне.

Оказывается, что в сумке, кроме инструментов, были казенные деньги и документы. Пропажа сумки была погибелью для нее: под суд!

– Коська сунул мне в руку сумку и исчез… Когда я выбежала за ним на двор, он был уже в воротах и убежал, – продолжала она.

Через год она мне показала единственное письмо от Коськи, где он сообщает – письмо писано под его диктовку, – что пришлось убежать от своих «ширмачей», «потому, что я их обманул и что правду им сказать было нельзя… Убежал я в Ярославль, доехал под вагоном, а оттуда попал летом в Астрахань, где работаю на рыбных промыслах, а потом обещали меня взять на пароход. Я выучился читать».

Это было последнее известие о Коське.

Давно умерла Ольга Петровна…

1923 год. Иду в домком. В дверях сталкиваюсь с человеком в черной шинели и тюленьей кепке.

– Извиняюсь.

– Извиняюсь.

Он поднимает левую руку, придерживая дверь, и я вижу перед собой только два вытянутых пальца – указательный и мизинец, а двух средних нет. Улыбающееся, милое, чисто выбритое лицо, и эти пальцы…

Мы извинились и разошлись.

За столом управляющий. Сажусь.

– Встретили вы сейчас интересного человека?

– Да, пальцев на руке нет. Будто козу кажет!

– Что пальцы? А глаза-то у него какие: один – зеленый, а другой – карий… И оба смеются…

– Наш жилец?

– К сожалению, нет. Приходил отказываться от комнаты. Третьего дня отвели ему в № 6 по ордеру комнату, а сегодня отказался. Какой любезный! Вызывают на Дальний Восток, в плавание. Только что приехал, и вызывают. Моряк он, всю жизнь в море пробыл. В Америке, в Японии, в Индии… Наш, русский, старый революционер 1905 года… Заслуженный. Какие рекомендации! Жаль такого жильца… Мы бы его сейчас в председатели заперли…

– Интересный? – говорю.

– Да, очень. Вот от него мне памятка осталась. Тогда я ему бланк нашей анкеты дал, он написал, а я прочел и усомнился. А он говорит: «Все правда. Как написано – так и есть. Врать не умею».

Управляющий передает мне нашу домовую анкету. Читаю по рубрикам:

«Касьян Иванович Иванов, 45 лет.

Место рождения: Москва, дом Ромейко на Хитровке.

Мать: солдатка-нищенка.

Отец: неизвестный».

А в самом верху анкеты, против рубрики «Должность», написано: «Штурман дальнего плавания».

## Сухаревка

*– Извозчик, к Бахаревой сушне!*
*– Квадцать допеек.*
*– А по хорде мочешь?*
**Старая шутка**

### I. Новая

Ликвидирована столетняя Сухаревка. 5000 квадратных сажен занимала она. И десятки лет старая дума, мечтавшая о ликвидации этого заражающего окрестности торжища, не знала, куда его перевести.

7000 квадратных сажен пустыря было рядом, и Московский совет занял его под сухаревское торжище. Тут же, рядом, в углу между Садовой и Трубной улицами, существовало владение Гефсиманского скита, где когда-то были монастырские огороды, а последнее время дикий пустырь, притон темного люда. Теперь это – «Новая Сухаревка», строго распланированная, с рядами деревянных бараков. В них помещаются 1647 отдельных магазинов, из которых 1000 уже заняты торговцами. Чистота, порядок, электрическое освещение огромными фонарями для ночной охраны, 6 водонапорных кранов и пожарная сигнализация. Бараки расположены по отделам: галантерея, обувь, кожа, одежда, москательный, щепной, скобяной, шапочный, стеклянный, мебель, меха, мануфактура, мясной, рыбный, мучной, письменные принадлежности, табак и пока только две книжных лавки букинистов и ни одной антикварной.

– Где же антиквария? – спрашиваю одного старого сухаревщика.

– Старьевщики-то? Да кому теперь ихнее барахло нужно? Вот там, в «развале», есть один-другой со своими рогожками.

Для «развала», т. е. именно для толкучки, отведен угол ближе к Трубной улице. Его со временем отгородят от рядов.

А пока иду туда. Это пахнет старой Сухаревкой. Развалены на рогожках и полотнах товары: замки, ключи, отвертки, старое железо, куски кожи для починки обуви, ржавые гвозди и обломки. Точильщик на своем станке шлифует ржавый топор. Дальше, вдоль забора, выстроены ряды порыжелых сапог, калош, груды тряпья, подушек, рвани. Трое татар горячатся на своем языке, осматривая и выворачивая поношенное пальто молодого человека в старом пиджаке. Вот и «антиквар» с несколькими хрустальными и фарфоровыми посудинами и поломанной скульптурой. Там невозмутимые китайцы, как тени, двигаются с трещотками, женщины с ярко-красными самодельными букетами, «ручники», обвешанные платьем, кружевами, кто с чем в руках, то становятся в линию, то расходятся. Покупают пока мало.

А вот и самое веселое место толкучки – обжорка. Длинный обжорный ряд начинается с бабы с покрытым подушкой и замотанным ситцевым одеялом ведром, из которого она за гривенник накладывает полную тарелку мятой картошки и поливает ее из кувшина грибным соусом. Пахнет постным маслом. Рядом другой, «скоромный» аромат: на жаровне кипит и брызжет жареная колбаса, и тут же блюдо с вареной свининой. Вот блинница печет белые блины и поливает их маслом. Один за другим несколько самоваров с горячим медовым сбитнем, лотки с булками и бутербродами. А кругом раскрасневшиеся лица питающихся.

### II. В 21-м году

Издали смотрю на торжище, окутанное серой пылью. Видна сплошная масса. Контуров и цветов не различишь. Шумит, что-то делит кучка папиросников – «королей Явы». Именитое купечество, как их назвал Бим-Бом в цирке, где они, развалясь в первых рядах, обжирались лакомствами. Это было время королей Явы, самых богатых людей Москвы.

Встречаю одну молодую особу.

– Можете представить себе, вот этакий мальчишка, лет двенадцати, мне сейчас предлагал к нему на содержание идти, обещал и номер, и денег массу показывал… Насилу отвязалась. Пока…

– Пока.

Проехал броневик. Проползли мешочники. Стою и брезгливо смотрю. Прямо-таки противно окунуться в это серое, живое, кишащее.

Все-таки иду. Присматриваюсь и уже различаю отдельные фигуры, серые, грязно-белые, черные, вылинявшие и ни одного яркого пятна. Вдали в середине толпы весело мелькнул красный платочек на голове женщины – и опять все серо. Поднимающаяся пыль дополняет впечатление. Френчи, шинели, защитные рубахи.

Я в толпе. Вот восточный человек, торгующий колбасами и обломками сыра на лотке, запустил под рубаху обломок доски и ожесточенно дерет себе спину и не видит, как мальчуган стащил у него кусочек сыру, запихнул в рот и нырнул в толпу.

Где-то вдали гогочет гусь.

Весело стоит босой рыжий мужичонко, на котором надет толстый дерюжный мешок с огромным клеймом и какими-то цифрами. Он держит коробку с махоркой и стаканчиком-меркой. Орет на весь базар:

– Махорка рязанская, самкраше! Кому махорки? Иду по наружному ряду.

– Картошка – 800 руб. фунт. Сало грязными кусками, захватанное и желтое, по 14 000 руб. фунт. Масло в пыльной бумаге – 15 000 руб. фунт. Ржавая ветчина – 16 000 руб. фунт. Изюм с землей, какие-то ярко-зеленые конфеты. Торгуются, покупают.

– Извиняюсь. Ничего подобного. Пока…

Вот на тележке целый лабаз: мешки муки, пшена, рису. Все это мусорно и все по 5000 руб. за фунт. На другой стороне рынка – развал: на земле лежат обломки железа, ключи, замки, дверцы, ручки, разрозненная дорогая посуда, статуэтки, вазочки и черт знает еще что, никелированная клетка для попугая, а на ней висят старые штаны. Их при мне же купили, а клетку, но уже без штанов, я видел там же через неделю. Кому она?

## III. Дореволюционная сухаревка

Сухаревка в старину была местом сбыта краденого. И вор-одиночка тащил сюда под полой «стыренное», и скупщики возили возами.

Бабы сидят на корчагах с похлебкой, серой лапшой или картошкой с прогорклым салом, противнями с «собачьей радостью», которую, вонючую, с голода едят на том основании, что

– Человек не собака, коли голоден, все съест, нюхать не станет.

Не было тогда никакого санитарного надзора, торгуй, чем попадется, лишь бы дешево.

Жареный пирог по две копейки, рукой не обхватишь, с говядиной и луком. А если в пироге попадется тряпка или мочала, так пирожник еще обидится.

– Что тебе, за две копейки с бархатом прикажешь?..

А квасы летом были, которые в разноску из кувшинов мальчишки продавали, – лучше не пей. Крашеная сырая вода, да хорошо еще, если из бассейна, а то прямо с конского водопоя черпали.

Тут же и парикмахерские. Сидит где-нибудь в сторонке, у стены башни, на ящике или на тумбе «клиент», а его бреет «цырульник», сам небритый и немытый. А рядом стоит мальчонка – ученик. Он бегает за водой с помадной банкой, которою черпает, чтобы недалеко ходить, в первой луже на мостовой, а то прямо плюнет на мыло и бреет.

– За семитку с рыла.

– Стрижка – пятак.

Нищих из отставных солдат брил бесплатно – на них мальчишки учились брить. Изрежет другого старика, тот кричит благим матом, а ученик старается и скоблит тупой бритвой до крови.

## Сухаревка

Сухаревка – дочь войны. Смоленский рынок – сын чумы.

Он старше Сухаревки на 35 лет. Он родился в 1777 году. После московской чумы последовал приказ властей продавать подержанные вещи исключительно на Смоленском рынке и то только по воскресеньям во избежание разнесения заразы.

После войны 1812 года, как только стали возвращаться в Москву москвичи и начали разыскивать свое разграбленное имущество, генерал-губернатор Растопчин издал приказ, в котором объявил, что «все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неотъемлемой собственностью того, кто в данный момент ими владеет, и что всякий владелец может их продавать, но только один раз в неделю, в воскресенье, в одном только месте, а именно на площади против Сухаревской башни». И в первое же воскресенье горы награбленного имущества запрудили огромную площадь, и хлынула Москва на невиданный рынок.

Это было торжественное открытие вековой Сухаревки.

Сухарева башня названа Петром I в честь Сухарева, стрелецкого полковника, который единственный со своим полком остался верен Петру во время стрелецкого бунта.

Высоко стояла вековая Сухарева башня с ее огромными часами. Издалека было видно. В верхних ее этажах помещались огромные цистерны водопровода, снабжавшего водой Москву.

Много легенд ходило о Сухаревой башне: и «колдун Брюс» делал там золото из свинца, и черная книга, написанная дьяволом, хранилась в ее тайниках. Сотни разных легенд – одна нелепее другой.

По воскресеньям около башни кипел торг, на который, как на праздник, шла вся Москва, и подмосковный крестьянин, и заезжий провинциал.

Против роскошного дворца Шереметевской больницы вырастали сотни палаток, раскинутых за ночь на один только день. От рассвета до потемок колыхалось на площади

море голов, оставляя узкие дорожки для проезда по обеим сторонам широченной в этом месте Садовой улицы. Толклось множество народа, и у всякого была своя цель.

Сюда в старину москвичи ходили разыскивать украденные у них вещи, и не безуспешно, потому что исстари Сухаревка была местом сбыта краденого. Вор-одиночка тащил сюда под полой «стыренные» вещи, скупщики возили их возами. Вещи продавались на Сухаревке дешево, «по случаю». Сухаревка жила «случаем», нередко несчастным. Сухаревский торговец покупал там, где несчастье в доме, когда все нипочем; или он «укупит» у не знающего цену нуждающегося человека, или из-под полы «товарца» приобретет, а этот «товарец» иногда дымом поджога пахнет, иногда и кровью облит, а уж слезами горькими – всегда. За бесценок купит и дешево продает…

Лозунг Сухаревки: «На грош пятаков!»

Сюда одних гнала нужда, других – азарт наживы, а третьих – спорт, опять-таки с девизом «на грош пятаков». Один нес последнее барахло из крайней нужды и отдавал за бесценок: окружат барышники, чуть не силой вырвут. И тут же на глазах перепродадут втридорога. Вор за бесценок – только бы продать поскорее – бросит тем же барышникам свою добычу. Покупатель необходимого являлся сюда с последним рублем, зная, что здесь можно дешево купить, и в большинстве случаев его надували. Недаром говорили о платье, мебели и прочем: «Сухаревской работы!»

Ходили сюда и московские богачи с тем же поиском «на грош пятаков».

Я много лет часами ходил по площади, заходил к Бакастову и в другие трактиры, где с утра воры и бродяги дуются на бильярде или в азартную биксу или фортунку, знакомился с этим людом и изучал разные стороны его быта. Чаще всего я заходил в самый тихий трактир, низок Григорьева, посещавшийся более скромной сухаревской публикой: тут игры не было, значит, и воры не заходили.

Я подружился с Григорьевым, тогда еще молодым человеком, воспитанным и образованным самоучкой. Жена его, вполне интеллигентная, стояла за кассой, получая деньги и гремя трактирными медными марками – деньгами, которые выбрасывали из «лопаточников» (бумажников) юркие ярославцы-половые в белых рубашках.

Я садился обыкновенно направо от входа, у окна, за хозяйский столик вместе с Григорьевым и беседовал с ним часами. То и дело подбегал к столу его сын, гимназист-первоклассник, с восторгом показывал купленную им на площади книгу (он увлекался «путешествиями»), брал деньги и быстро исчезал, чтобы явиться с новой книгой.

Кругом, в низких прокуренных залах, галдели гости, к вечеру уже подвыпившие. Среди них сновали торгаши с мелочным товаром, бродили вокруг столов случайно проскользнувшие нищие, гремели кружками монашки-сборщицы.

Влетает оборванец, выпивает стакан водки и хочет убежать. Его задерживают половые. Скандал. Кликнули с поста городового, важного, толстого. Узнав, в чем дело, он плюет и, уходя, ворчит:

– Из-за пятака правительство беспокоють!

Изредка заходили сыщики, но здесь им делать было нечего. Мне их указывал Григорьев и много о них говорил. И многое из того, что он говорил, мне пригодилось впоследствии.

У Григорьева была большая прекрасная библиотека, составленная им исключительно на Сухаревке. Сын его, будучи студентом, участвовал в революции. В 1905 году он был расстрелян царскими войсками. Тело его нашли на дворе Пресненской части, в груде трупов. Отец не пережил этого и умер. Надо сказать, что и ранее Григорьев считался неблагонадежным и иногда открыто воевал с полицией и ненавидел сыщиков…

Настоящих сыщиков до 1881 года не было, потому что сыскная полиция как учреждение образовалась только в 1881 году. До тех пор сыщиками считались только два пристава – Замайский и Муравьев, имевшие своих помощников из числа воров, которым мирволили в мелких кражах, а крупные преступления они должны были раскрывать и важных преступников ловить. Кроме этих двух, был единственно знаменитый в то время

сыщик Смолин, бритый плотный старик, которому поручались самые важные дела. Центр района его действия была Сухаревка, а отсюда им были раскинуты нити повсюду, и он один только знал все. Его звали «Сухаревский губернатор».

Десятки лет он жил на 1-й Мещанской в собственном двухэтажном домике вдвоем со старухой прислугой. И еще, кроме мух и тараканов, было только одно живое существо в его квартире – это состарившаяся с ним вместе большущая черепаха, которую он кормил из своих рук, сажал на колени, и она ласкалась к нему своей голой головой с умными глазами. Он жил совершенно одиноко, в квартире его – все знали – было много драгоценностей, но он никого не боялся: за него горой стояли громилы и берегли его, как он их берег, когда это было возможно. У него в доме никто не бывал: принимал только в сенях. Дружил с ворами, громилами, и главным образом с шулерами, бывая в игорных домах, где его не стеснялись. Он знал все, видел все – и молчал. Разве уж если начальство прикажет разыскать какую-нибудь дерзкую кражу, особенно у известного лица, – ну, разыщет, сами громилы скажут и своего выдадут…

Был с ним курьезный случай: как-то украли медную пушку из Кремля, пудов десяти весу, приказало ему начальство через три дня пушку разыскать. Он всех воров на ноги.

– Чтоб была у меня пушка! Свалите ее на Антроповых ямах в бурьян… Чтоб завтра пушка оказалась, где приказано.

На другой день пушка действительно была на указанном пустыре. Начальство перевезло ее в Кремль и водрузило на прежнем месте, у стены. Благодарность получил.

Уже много лет спустя выяснилось, что пушка для Смолина была украдена другая, с другого конца кремлевской стены послушными громилами, принесена на Антроповы ямы и возвращена в Кремль, а первая так и исчезла.

В преклонных годах умер Смолин бездетным. Пережила его только черепаха. При описи имущества, которое в то время, конечно, не все в опись попало, найдено было в его спальне два ведра золотых и серебряных часов, цепочек и портсигаров.

Громилы и карманники очень соболезновали:

– Сколько добра-то у нас пропало! Оно ведь все наше добро-то было… Ежели бы знать, что умрет Андрей Михайлович, – прямо голыми руками бери!

Десятки лет околачивался при кварталах сыщиком Смолин. Много легенд по Сухаревке ходило о нем. Еще до русско-турецкой войны в Златоустенском переулке в доме Медынцева совершенно одиноко жил богатый старик индеец. Что это был за человек, никто не знал. Кто говорил, что он торгует восточными товарами, кто его считал за дисконтера. Кажется, то и другое имело основание. К нему иногда ходили какие-то восточные люди, он был окружен сплошной тайной. Восточные люди вообще жили тогда на подворьях Ильинки и Никольской. И он жил в таком переулке, где днем торговля идет, а ночью ни одной души не увидишь. Кому какое дело – живет индеец и живет! Мало ли какого народу в Москве.

Вдруг индейца нашли убитым в квартире. Все было снаружи в порядке: следов грабежа не видно. В углу, на столике, стоял аршинный Будда литого золота; замки не взломаны. Явилась полиция для розысков преступников. Драгоценности целыми сундуками направили в хранилище Сиротского суда: бриллианты, жемчуг, золото, бирюза – мерами! Напечатали объявление о вызове наследников. Заторговала Сухаревка! Бирюзу горстями покупали, жемчуг… бриллианты…

Дело о задушенном индейце в воду кануло, никого не нашли. Наконец года через два явился законный наследник – тоже индеец, но одетый по-европейски. Он приехал с деньгами, о наследстве не говорил, а цель была одна – разыскать убийц дяди. Его сейчас же отдали на попечение полиции и Смолина.

Смолин первым делом его познакомил с восточными людьми Пахро и Абазом, и давай индейца для отыскивания следов по шулерским мельницам таскать – выучил пить и играть в модную тогда стуколку… Запутали, закружили юношу. В один прекрасный день он поехал ночью из игорного притона домой – да и пропал. Поговорили и забыли.

А много лет спустя как-то в дружеском разговоре с всеведущим Н. И. Пастуховым я

заговорил об индейце. Оказывается, он знал много, писал тогда в «Современных известиях», но об индейце генерал-губернатором было запрещено даже упоминать.

– Кто же был этот индеец? – спрашиваю.

– Темное дело. Говорят, какой-то скрывавшийся глава секты душителей.

– Отчего же запретил о нем писать генерал-губернатор?

– Да оттого, что в спальне у Закревского золотой Будда стоял!

– Разве Закревский был буддист?!

– Как же, с тех пор, как с Сухаревки ему Будду этого принесли!

Небольшого роста, плечистый, выбритый и остриженный начисто, в поношенном черном пальто и картузе с лаковым козырьком, солидный и степенный, точь-в-точь камердинер средней руки, двигается незаметно Смолин по Сухаревке. Воры исчезают при его появлении. Если увидят, то знают, что он уже их заметил – и, улуча удобную минуту, подбегают к нему… Рыжий, щеголеватый карманник Пашка Рябчик что-то спроворил в давке и хотел скрыться, но взгляд сыщика остановился на нем. Сделав круг, Рябчик был уже около и что-то опустил в карман пальто Смолина.

– Щучка здесь… с женой… Проигрался… Зло работает…

– С Аннушкой?

– Да-с… Юрка к Замайскому поступил… Игроки с деньгами! У старьевщиков покупают… Вьюн… Голиаф… Ватошник… Кукиш и сам Цапля. Шуруют вон, гляди…

Быстро выпалил и исчез. Смолин переложил серебряные часы в карман брюк.

Издали углядел в давке высокую женщину в ковровом платке, а рядом с ней козлиную бородку Щучки. Женщина увидала и шепнула бороде. Через минуту Щучка уже терся как незнакомый около Смолина.

– Сегодня до кишок меня раздели… У Васьки Темного… проигрался!

– Ничего, злее воровать будешь! Щучка опустил ему в карман кошелек.

– Аннушка сработала?

– Она… Сам не знаю, что в нем…

– А у Цапли что?

– Прямо плачу, что не попал, а угодил к Темному! Вот дело было! Сашку Утюга сегодня на шесть тысяч взяли…

– Сашку? Да он сослан в Сибирь!

– Какое! Всю зиму на Хитровке околачивался… болел… Марк Афанасьев подкармливал. А в четверг пофартило, говорят, в Гуслицах с кем-то купца пришил… Как одну копейку шесть больших отдал. Цапля метал… Архивариус метал. Резал Назаров.

– Расплюев!

– Да, вон он с Цаплей у палатки стоит… Андрей Михайлович, первый фарт тебе отдал!.. Дай хоть копеечку на счастье…

– На, разживайся! – И отдал обратно кошелек.

– Вот спасибо! Век не забуду… Ведь почин дороже денег… Теперь отыграюсь! Да! Сашку до копья разыграли. Дали ему утром сотенный билет, он прямо на вокзал в Нижний… А Цапля завтра новую мельницу открывает, богатую.

Смолин подходит к Цапле.

– С добычей! Когда на новоселье позовешь? У Цапли и лицо вытянулось.

– Сашку-то сегодня на шесть больших слопали! Ну, когда новоселье?..

Оторопел окончательно старый Цапля.

– Цапля! Это что ты отобрал? Портреты каких-то вельмож польских… На что они тебе?

– Для дураков, Андрей Михайлович, для дураков… Повешу в гостиной – за моих предков сойдут… Так в четверг, милости просим, там же на Цветном, над моей старой квартирой… сегодня снял в бельэтаже…

– Сашку на Волгу спровадили?

Добивает Цаплю всеведущий сыщик и идет дальше, к ювелирным палаткам, где выигравшие деньги шулера обращают их в золотые вещи, чтоб потом снова проиграться на

мельницах…

Поговорит с каждым, удивит каждого своими познаниями, а от них больше выудит…

– Это кто такой франт, что с Абазом стоит?

– Невский гусь… как его…

– Кихибарджи?.. Зачем он здесь?

– За кем-то из купцов охотится… в «Славянском базаре» в сорокарублевом номере остановились. И Караулов с ними…

И по развалу проползет тенью Смолин.

Увидал Комара.

– Ну как твои куклы?

Все Смолин знает – не то, что где было, а что и когда будет и где…

И знает, и будет молчать, пока его самого начальство не прищучит!

Из властей предержащих почти никто не бывал на Сухаревке, кроме знаменитого московского полицмейстера Н.И. Огарева, голова которого с единственными в Москве усами черными, лежащими на груди, изредка по воскресеньям маячила над толпой около палаток антикваров. В палатках он время от времени покупал какие-нибудь удивительные стенные часы. И всегда платил за них наличные деньги, и никогда торговцы с него, единственного, может быть, не запрашивали лишнего. У него была страсть к стенным часам. Его квартира была полна стенными часами, которые били на разные голоса непрерывно, одни за другими. Еще он покупал карикатуры на полицию всех стран, и одна из его комнат была увешана такими карикатурами. Этим товаром снабжали его букинисты и цензурный комитет, задерживавший такие издания.

Особенно он дорожил следующей карикатурой. Нарисован забор. Вдали каланча с вывешенными шарами и красным флагом (сбор всех частей). На заборе висят какие-то цветные лохмотья, а обозленная собака стоит на задних лапках, карабкается к лохмотьям и никак не может их достать.

Подпись:

«Далеко Арапке до тряпки» (в то время в Петербурге был обер-полицмейстером Трепов, а в Москве – Арапов).

– Вот идиоты, – говорил Н.И. Огарев.

Ну кто бы догадался! Так бы и прошла насмешка незаметно… Я видел этот номер «Будильника», внимания на него не обратил до тех пор, пока городовые не стали отбирать журнал у газетчиков. Они все и рассказали.

В те времена палаток букинистов было до тридцати. Здесь можно было приобрести все, что хочешь. Если не найдется нужный том какого-нибудь разрозненного сочинения, только закажи, к другому воскресенью достанут. Много даже редчайших книг можно было приобрести только здесь. Библиофилы не пропускали ни одного воскресенья. А как к этому дню готовились букинисты! Шесть дней рыщут – ищут товар по частным домам, усадьбам, чердакам, покупают целые библиотеки у наследников или разорившихся библиофилов, а «стрелки» скупают повсюду книги и перепродают их букинистам, собиравшимся в трактирах на Рождественке, в Большом Кисельном переулке и на Малой Лубянке. Это была книжная биржа, завершавшаяся на Сухаревке, где каждый постоянный покупатель знал каждого букиниста и каждый букинист знал каждого покупателя: что ему надо и как он платит. Особым почетом у букинистов пользовались профессора И.Е. Забелин, Н.С. Тихонравов и Е.В. Барсов.

Любили букинисты и студенческую бедноту, делали для нее всякие любезности. Приходит компания студентов, человек пять, и общими силами покупают одну книгу или издание лекций совсем задешево, и все учатся по одному экземпляру. Или брали напрокат книгу, уплачивая по пятачку в день. Букинисты давали книги без залога, и никогда книги за студентами не пропадали.

Букинисты и антиквары (последних звали «старьевщиками») были аристократической

частью Сухаревки. Они занимали место ближе к Спасским казармам. Здесь не было той давки, что на толкучке. Здесь и публика была чище: коллекционеры и собиратели библиотек, главным образом из именитого купечества.

Всем букинистам был известен один собиратель, каждое воскресенье копавшийся в палатках букинистов и в разваленных на рогожах книгах, оставивший после себя ценную библиотеку. И рассчитывался он всегда неуклонно так: сторгует, положим, книгу, за которую просили пять рублей, за два рубля, выжав все из букиниста, и лезет в карман. Вынимает два кошелька, из одного достает рубль, а из другого вываливает всю мелочь и дает один рубль девяносто три копейки.

– Семи копеечек нет… Вот получите.

Знают эту систему букинисты, знают, что ни за что не добавит, и отдают книгу.

А один букинист раз сказал ему:

– Ну как вам не совестно копеечки-то у нашего брата вымарщивать?

– Ты ничего не понимаешь! А в год-то их сколько накопится?

Знали еще букинисты одного курьезного покупателя. Долгое время ходил на Сухаревку старый лакей с аршином в руках и требовал книги в хороших переплетах и непременно известного размера. За ценой не стоял. Его чудак-барин, разбитый параличом и не оставлявший постели, таким образом составлял библиотеку, вид которой утешал его.

На этой «аристократической» части Сухаревки вперемежку с букинистами стояли и палатки антикваров.

Уважаемым покупателем у последних был Петр Иванович Щукин. Сам он редко бывал на Сухаревке. К нему товар носили на дом. Дверь его кабинета при амбаре на Ильинке, запертая для всех, для антикваров всегда была открыта. Вваливаются в амбар барахольщики с огромными мешками, их сейчас же провожают в кабинет без доклада. Через минуту Петр Иванович погружается в тучу пыли, роясь в грудах барахла, вываленного из мешков. Отбирает все лучшее, а остатки появляются на Сухаревке в палатках или на рогожах около них. Сзади этих палаток, к улице, барахольщики второго сорта раскидывали рогожи, на которых был разложен всевозможный чердачный хлам: сломанная медная ручка, кусок подсвечника, обломок старинной канделябры, разрозненная посуда, ножны от кинжала.

И любители роются в товаре и всегда находят что купить. Время от времени около этих рогож появляется владелец колокольного завода, обходит всех и отбирает обломки лучшей бронзы, которые тут же отсылает домой, на свой завод. Сам же направляется в палатки антикваров и тоже отбирает лом серебра и бронзы.

– Что покупаете? – спрашиваю как-то его.

– Серебряный звон!

Для Сухаревки это развлечение.

Колокол льют! Шушукаются по Сухаревке – и тотчас же по всему рынку, а потом и по городу разнесутся нелепые россказни и вранье. И мало того, что чужие повторяют, а каждый сам старается похлеще соврать, и обязательно действующее лицо, время и место действия точно обозначит.

– Слышали, утром-то сегодня? Под Каменным мостом кит на мель сел… Народищу там!

– В беговой беседке у швейцара жена родила тройню – и все с жеребячьими головами.

– Сейчас Спасская башня провалилась. Вся! И с часами! Только верхушку видать.

Новичок и в самом деле поверит, а настоящий москвич выслушает и виду не подает, что вранье, не улыбается, а сам еще чище что-нибудь прибавит. Такой обычай:

– Колокол льют!

Сотни лет ходило поверье, что чем больше небылиц разойдется, тем звонче колокол отольется. А потом встречаются:

– Чего ты назвонил, что башня провалилась? Бегал – на месте стоит, как стояла!

– У Финляндского на заводе большой колокол льют! Ха-ха-ха!

С восьмидесятых годов, когда в Москве начали выходить газеты и запестрели

объявлениями колокольных заводов, Сухаревка перестала пускать небылицы, которые в те времена служили рекламой. А колоколозаводчик неукоснительно появлялся на Сухаревке и скупал «серебряный звон». За ним очень ухаживали старьевщики, так как он был не из типов, искавших «на грош пятаков».

Это был покупатель со строго определенной целью – купить «серебряный звон», а не «на грош пятаков». Близок к нему был еще один «чайник», не пропускавший ни одного воскресенья, скупавший, не выжиливая копеечку, и фарфор, и хрусталь, и картины…

Между любителями-коллекционерами были знатоки, особенно по хрусталю, серебру и фарфору, но таких было мало, большинство покупателей мечтало купить за «красненькую» настоящего Рафаэля, чтобы потом за тысячи перепродать его, или купить из «первых рук» краденое бриллиантовое колье за полсотни… Пускай потом картина Рафаэля окажется доморощенной мазней, а колье – бутылочного стекла, покупатель все равно идет опять на Сухаревку в тех же мечтах и до самой смерти будет искать «на грош пятаков». Ни образования, ни знания, ничего, кроме тятенькиных капиталов и природного уменья наживать деньги, у него не имеется.

И торгуются такие покупатели из-за копейки до слез, и радуются, что удалось купить статуэтку голой женщины с отбитой рукой и поврежденным носом, и уверяют они знакомых, что даром досталась:

– Племянница Венеры Милосской!

– Что?!

– А рука-то где! А вы говорите!

Еще обидится! И пойдет торговаться с извозчиком из-за гривенника.

Много таких ходило по Сухаревке, но посещали Сухаревку и истинные любители старины, которые оставили богатые коллекции, ставшие потом народным достоянием.

…Но много их и пропало. Все делалось как-то втихомолку, по-сухаревски.

И все эти антиквары и любители были молчаливы, как будто они покупали краденое. Купит, спрячет и молчит. И все в одиночку, тайно друг от друга.

Но раз был случай, когда они все жадной волчьей стаей или, вернее, стаей пугливого воронья набросились на крупную добычу. Это было в восьмидесятых годах.

Тогда умер знаменитый московский коллекционер М. М. Зайцевский, более сорока лет собиравший редкости изящных искусств, рукописей, пергаментов, первопечатных книг. Полвека его знала вся Сухаревка.

За десятки лет все его огромные средства были потрачены на этот музей, закрытый для публики и составлявший в полном смысле этого слова жизнь для своего старика владельца, забывавшего весь мир ради какой-нибудь «новенькой старинной штучки» и никогда не отступившего, чтобы не приобрести ее.

Он ухаживал со страстью и терпением за какой-нибудь серебряной крышкой от кружки и не успокаивался, пока не приобретал ее. Я знаком был с М.М. Зайцевским, но трудно было его уговорить показать собранные им редкости. Да никому он их и не показывал. Сам, один любовался своими сокровищами, тщательно их охраняя от постороннего глаза.

Прошло сорок лет, а у меня до сих пор еще мелькают перед глазами редкости этих четырех больших комнат его собственного дома по Хлебному переулку. Стены комнат тесно увешаны массой старинных картин. На первом плане картина, изображающая святого Иеронима. Это оригинал замечательного художника. Некоторые знатоки приписывали его кисти Луки Джиордано. Рядом с этой картиной помещались две громадные картины фламандской школы, изображающие пир и торжественный выход какого-то властителя. Далее картина Лессуера «Христос с детьми», картина Адриана Стаде и множество других картин прошлых веков.

В следующей комнате огромная коллекция редчайших икон, начиная с икон строгановского письма, кончая иконами, уцелевшими чуть не со времен гонения на христиан. Тут же коллекция крестов. Между ними золотой складень с надписью: «Моление головы московских стрельцов Матвея Тимофеевича Синягина». Третья комната занята

портретами на кости и на металле. Портрет Екатерины II, сделанный из немецких букв, которые можно рассмотреть только в лупу. Из букв составлялась вся история царствования. Еще два портрета маслом с графа Орлова-Чесменского. На одном портрете граф изображен на своем Барсе верхом, а на другом – в санях, запряженных Свирепым. Около на столе лежит кованая, вся в бирюзе, сбруя Свирепого. Далее сотни часов, рогов, кружек, блюд, а посреди их статуя Ермака Тимофеевича, грудь которого сделана из огромной цельной жемчужины. Она стоит на редчайшем серебряном блюде XI века.

Перечислить все, что было в этих залах, невозможно. А на дворе, кроме того, большой сарай был завален весь разными редкостями более громоздкими. Тут же вся его библиотека. В отделении первопечатных книг была книга «Учение Фомы Аквинского», напечатанная в 1467 году в Майнце, в типографии Шефера, компаньона изобретателя книгопечатания Гутенберга.

В отделе рукописей были две громадные книги на пергаменте с сотнями рисунков рельефного золота. Это «Декамерон» Боккаччо, писанная по-французски в 1414 году.

После смерти владельца его наследники, не открывая музея для публики, выставили некоторые вещи в залах Исторического музея и снова взяли их, решив продать свой музей, что было необходимо для дележа наследства. Ученые-археологи, профессора, хранители музеев дивились редкостям, высоко ценили их и соболезновали, что казна не может их купить для своих хранилищ.

Три месяца музей стоял открытым для покупателей, но продать, за исключением мелочей, ничего не удалось: частные московские археологи, воспитанные на традициях Сухаревки с девизом «на грош пятаков», ходили стаями и ничего не покупали. Сухаревские старьевщики-барахольщики типа Ужо, коллекционеры, бесящиеся с жиру или собирающие коллекции, чтобы похвастаться перед знакомыми, или скупающие драгоценности для перевода капиталов из одного кармана в другой, или просто желающие помаклачить искатели «на грош пятаков», вели себя возмутительно.

Они с видом знатоков старались «овладеть» своими глазами, разбегающимися, как у вора на ярмарке, при виде сокровищ, поднимали голову и, рассматривая истинно редкие, огромной ценности вещи, говорили небрежно:

– М…н…да… Но это не особенная редкость! Пожалуй, я возьму ее. Пусть дома валяется… Целковых двести дам.

Так ценили финифтьевый ларец, стоивший семь тысяч рублей.

Об этом ларце в воскресенье заговорили молчаливые раритетчики на Сухаревке. Предлагавший двести рублей на другой день подсылал своего подручного купить его за три тысячи рублей. Но наследники не уступили. А Сухаревка, обиженная, что в этом музее даром ничего не укупишь, начала «колокола лить».

Несколько воскресений между антикварами только и слышалось, что лучшие вещи уже распроданы, что наследники нуждаются в деньгах и уступают за бесценок, но это не помогло сухаревцам укупить «на грош пятаков».

В один прекрасный день на двери появилась вывеска, гласившая, что Сухаревских маклаков и антикваров из переулков (были названы два переулка) просят «не трудиться звонить».

Дальнейшую судьбу музея и его драгоценностей я не знаю.

Помню еще, что сын владельца музея В.М. Зайцевский, актер и рассказчик, имевший в свое время успех на сцене, кажется, существовал только актерским некрупным заработком, умер в начале этого столетия. Его знали под другой, сценической фамилией, а друзья, которым он в случае нужды помогал щедрой рукой, звали его просто – Вася Днепров.

Что он Зайцевский – об этом и не знали. Он как-то зашел ко мне и принес изданную им книжку стихов и рассказов, которые он исполнял на сцене. Книжка называлась «Пополам». Меня он не застал и через день позвонил по телефону, спросив, получил ли я ее.

– Спасибо, – ответил я, – жаль, что не застал меня. Кстати, скажи, цел ли отцовский музей?

– Эге! Хватился! Только и остался портрет отца, и то я его этой зимой на Сухаревке купил.

Неизменными посетителями Сухаревки были все содержатели антикварных магазинов. Один из них являлся с рассветом, садился на ящик и смотрел, как расставляют вещи. Сидит, глядит и, чуть усмотрит что-нибудь интересное, сейчас ухватит раньше любителей-коллекционеров, а потом перепродаст им же втридорога.

Нередко антиквары гнали его:

– Да уходите, не мешайте, дайте разложиться!

– Ужо! Ужо! – отвечает он всегда одним и тем же словом и сидит, как примороженный.

Так и звали его торговцы: «Ужо!»

Любил рано приходить на Сухаревку и Владимир Егорович Шмаровин. Он считался знатоком живописи и поповского фарфора. Он покупал иногда серебряные чарочки, из которых мы пили на его «средах», покупал старинные дешевые медные, бронзовые серьги. Он прекрасно знал старину, и его обмануть было нельзя, хотя подделок фарфора было много, особенно поповского. Делали это за границей, откуда приезжали агенты и привозили товар.

На Сухаревке была одна палатка, специально получавшая из-за границы поддельного «Попова». Подделки практиковались во всех областях.

Нумизматы неопытные также часто попадались на сухаревскую удочку. В серебряном ряду у антикваров стояли витрины, полные старинных монет. Кроме того, на застекленных лотках продавали монеты ходячие нумизматы. Спускали по три, по пяти рублей редкостные рубли Алексея Михайловича и огромные четырехугольные фальшивые медные рубли московской и казанской работы.

Поддельных Рафаэлей, Корреджио, Рубенсов – сколько хочешь. Это уж специально для самых неопытных искателей «на грош пятаков». Настоящим знатокам их даже и не показывали, а товар все-таки шел.

Был интересный случай. К палатке одного антиквара подходит дама, долго смотрит картины и останавливается на одной с надписью: «И. Репин»; на ней ярлык: десять рублей.

– Вот вам десять рублей. Я беру картину. Но если она не настоящая, то принесу обратно. Я буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему.

Приносит дама к знакомым картину и показывает ее И.Е. Репину. Тот хохочет. Просит перо и чернила и подписывает внизу картины: «Это не Репин. И. Репин».

Картина эта опять попала на Сухаревку и была продана благодаря репинскому автографу за сто рублей.

Старая Сухаревка занимала огромное пространство в пять тысяч квадратных метров. А кругом, кроме Шереметевской больницы, во всех домах были трактиры, пивные, магазины, всякие оптовые торговли и лавки – сапожные и с готовым платьем, куда покупателя затаскивали чуть ли не силой. В ближайших переулках – склады мебели, которую по воскресеньям выносили на площадь.

Главной же, народной Сухаревкой была толкучка и развал.

Какие два образных слова: народ толчется целый день в одном месте, и так попавшего в те места натолкают, что потом всякое место болит! Или развал: развалят нескончаемыми рядами на рогожах немудрый товар и торгуют кто чем: кто рваной обувью, кто старым железом; кто ключи к замкам подбирает и тут же подпиливает, если ключ не подходит. А карманники по всей площади со своими тырщиками снуют: окружат, затырят, вытащат. Кричи «караул» – никто и не послушает, разве за карман схватится, а он, гляди, уже пустой, и сам поет: «Караул! Ограбили!» И карманники шайками ходят, и кукольники с подкидчиками шайками ходят, и сменщики шайками, и барышники шайками.

На Сухаревке жулью в одиночку делать нечего. А сколько сортов всякого жулья! Взять хоть «играющих»: во всяком удобном уголку садятся прямо на мостовую трое-четверо и открывают игру в три карты – две черные, одна красная. Надо угадать красную. Или игра в ремешок: свертывается кольцом ремешок, и надо гвоздем попасть так, чтобы гвоздь остался в ремешке. Но никогда никто не угадает красной, и никогда гвоздь не останется в ремне.

Ловкость рук поразительная.

И десятки шаек игроков шатаются по Сухаревке, и сотни простаков, желающих нажить, продуваются до копейки. На лотке с гречневиками тоже своя игра; ею больше забавляются мальчишки в надежде даром съесть вкусный гречневик с постным маслом. Дальше ходячая лотерея – около нее тоже жулье.

Имеются жулики и покрупнее.

Пришел, положим, мужик свой последний полушубок продавать. Его сразу окружает шайка барышников. Каждый торгуется, каждый дает свою цену. Наконец, сходятся в цене. Покупающий неторопливо лезет в карман, будто за деньгами, и передает купленную вещь соседу. Вдруг сзади мужика шум, и все глядят туда, а он тоже туда оглядывается. А полушубок в единый миг, с рук на руки, и исчезает.

– Что же деньги-то, давай!

– Че-ево?

– Да деньги за шубу!

– За какую? Да я ничего и не видал!

Кругом хохот, шум. Полушубок исчез, и требовать не с кого.

Шайка сменщиков: продадут золотые часы, с пробой, или настоящее кольцо с бриллиантом, а когда придет домой покупатель, поглядит – часы медные и без нутра, и кольцо медное, со стеклом.

Положим, это еще Кречинский делал. Но Сухаревка выше Кречинского. Часы или булавку долго ли подменить! А вот подменить дюжину штанов – это может только Сухаревка. Делалось это так: ходят малые по толкучке, на плечах у них перекинуты связки штанов, совершенно новеньких, только что сшитых, аккуратно сложенных.

– Почем штаны?

– По четыре рубля. Нет, ты гляди, товар-то какой… По случаю аглицкий кусок попал. Тридцать шесть пар вышло. Вот и у него, и у него. Сейчас только вынесли.

Покупатель и у другого смотрит.

– По три рубля… пару возьму.

– Эка!

– Ну, красненькую за трое… Берешь?

– По четыре… А вот что, хошь ежели, бери всю дюжину за три красных…

У покупателя глаза разгорелись: кому ни предложи, всякий купит по три, а то и по четыре рубля. А сам у того и другого смотрит и считает, – верно, дюжина. А у третьего тоже кто-то торгует тут рядом.

Сторговались за четвертную. Покупатель отдает деньги, продавец веревочкой связывает штаны… Вдруг покупателя кто-то бьет по шее. Тот оглядывается.

– Извини, обознался, за приятеля принял!

Покупатель получает штаны и уходит. Приносит домой. Оказывается, одна штанина сверху и одна снизу, а между ними – барахло.

Сменили пачку, когда он оглянулся.

Купил «на грош пятаков»!

Около селедочниц, сидящих рядами и торгующих вонючей обжоркой, жулья меньше; тут только снуют, тоже шайками, бездомные ребятишки, мелкие карманники и поездошники, таскающие у проезжих саквояжи из пролеток. Обжорка – их любимое место, их биржа. Тухлая колбаса в жаровнях, рванинка, бульонка, обрезки, ржавые сельди, бабы на горшках с тушеной картошкой… Вдруг ливень. Развал закутывает рогожами товар. Кто может, спасается под башню. Только обжорка недвижима – бабы поднимают сзади подолы и окутывают голову… Через несколько минут опять голубое небо, и толпа опять толчется на рынке.

После дождя и в дождь особенно хорошо торгуют обувью.

В одну из палаток удалось затащить чиновника в сильно поношенной шинели. Его долго рвали пополам два торговца – один за правую руку, другой за левую.

За два рубля чиновник покупает подержанные штиблеты, обувается и уходит, лавируя между лужами.

Среди торговцев – спор:

– Не дойдет!

– Дойдет!

– На пару пива?

– На скольки?

– На четверть часа.

– Пошло.

– Нет, бриться идет!

Чиновник уселся на тумбу около башни. Небритый и грязный цирюльник мигнул вихрастому мальчишке, тот схватил немытую банку из-под мази, отбежал, черпнул из лужи воды и подал. Здесь бритье стоило три копейки, а стрижка – пять.

По утрам, когда нет клиентов, мальчишки обучались этому ремеслу на отставных солдатах, которых брили даром. Изрежет неумелый мальчуган несчастного, а тот сидит и терпит, потому что в билете у него написано: «бороду брить, волосы стричь, по миру не ходить». Через неделю опять солдат просит побрить!

– Ну, недорезанный, садись! – приглашает его на тумбу московский Фигаро.

Я любил останавливаться и подолгу смотреть на эту галдящую орду, а иногда и отдаваться воле зазывал.

Идешь по тротуару мимо лавок, а тебя за полы хватают.

– Пожалте-с, у нас покупали!

Тащат и тащат. Хочешь не хочешь, заведут в лавку. А там уже обступят другие приказчики: всякий свое дело делает и свои заученные слова говорит. Срепетовка ролей и исполнение удивительные. Заставят пересмотреть, а то и примерить все: и шубу, и пальто, и поддевку.

– Да ведь мне ничего не надо!

– Теперь не надо. Опосля понадобится. Лишнее знание не повредит. Окромя пользы, от этого ничего. Может, что знакомым понадобится, вот и знаете, где купить, а каков товар – своими глазами убедились.

Шумит зазывала на улице у лавки.

Идет строгая дама.

– Сударыня! У нас покупали. Для супруга пальто, для деток поддевки-с…

Дама гордо проходит мимо. Тон зазывалы меняется.

– Сударыня, сударыня! Из брюк чего-нибудь не желаете ли!.. – кричит ей вдогонку при общем хохоте зазывала и ловит новых прохожих.

А какие там типы были! Я знал одного из них. Он брал у хозяина отпуск и уходил на масленицу и пасху в балаганы на Девичьем поле в деды-зазывалы. Ему было под сорок, жил он с мальчиков у одного хозяина. Звали его Ефим Макариевич. Не Макарыч, а из почтения – Макариевич.

У лавки солидный и важный, он был в балагане неузнаваем с своей седой подвязанной бородой. Как заорет на все поле:

– Рррра-ррр-ра-а! К началу! У нас Юлия Пастраны – двоюродная внучка от облизьяны! Дыра на боку, вся в шелку!.. – И пойдет и пойдет…

Толпа уши развесит. От всех балаганов сбегаются люди «Юшку-комедианта» слушать. Таращим и мы на него глаза, стоя в темноте и давке, задрав головы. А он седой бородой трясет да над нами же издевается. Вдруг ткнет в толпу пальцем да как завизжит:

– Чего ты чужой карман шаришь?

И все завертят головами, а он уже дальше: ворону увидал – и к ней.

– Дура ты дура! Куда тебя зря нечистая сила прет… Эх ты, девятиногая буфетчица из помойной ямы!.. Рр-ра-ра! К началу-у, к началу!

Сорвет бороду, махнет ею над головой и исчезнет вниз.

А через минуту опять выскакивает, на ходу бороду нацепляет:

– Эге-ге-гей! Публик почтенная, полупочтенная и которая так себе! Начинайте торопиться, без вас не начнем. Знай наших, не умирай скорча.

Вдруг остановится, сделает серьезную физиономию, прислушивается.

Толпа замрет.

– Ой-ой-ой! Да никак начали! Торопись, ребя!

И балаган всегда полон, где Юшка орет.

Однажды, беседуя с ним за чайком, я удивился тому, как он ловко умеет владеть толпою. Он мне ответил:

– Это что, толпа – баранье стадо. Куда козел, туда и она. Куда хочешь повернешь. А вот на Сухаревке попробуй! Мужику в одиночку втолкуй, какому-нибудь коблу лесному, а еще труднее – кулугуру степному, да заставь его в лавку зайти, да уговори его ненужное купить. Это, брат, не с толпой под Девичьим, а в сто раз потруднее! А у меня за тридцать лет на Сухаревке никто мимо лавки не прошел. А ты – толпа. Толпу… зимой купаться уговорю!

Сухаревка была особым миром, никогда более не повторяемым. Она вся в этом анекдоте:

Один из посетителей шмаровинских «сред», художник-реставратор, возвращался в одно из воскресений с дачи и прямо с вокзала, по обыкновению, заехал на Сухаревку, где и купил великолепную старую вазу, точь-в-точь под пару имеющейся у него.

Можете себе представить радость настоящего любителя, приобретшего такое ценное сокровище!

А дома его встретила прислуга и сообщила, что накануне громилы обокрали его квартиру.

Он купил свою собственную вазу!

## Под Китайской стеной

Постройка Китайской стены, отделяющей Китай-город от Белого города, относится к половине XVI века. Мать Иоанна Грозного, Елена Глинская, назвала эту часть города Китай-городом в воспоминание своей родины – Китай-городка на Подолии.

В начале прошлого столетия, в 1806 году, о китайгородской стене писал П.С. Валуев: «Стены Китая от злоупотребления обращены в постыдное положение. В башнях заведены лавки немаловажных чиновников; к стенам пристроены в иных местах неблаговидные лавочки, в других погреба, сараи, конюшни… Весьма много тому способствуют и фортификационные укрепления земляные, бастион и ров, которых в древности никогда не было. Ими заложены все из города стоки. Нечистоты заражают воздух. Такое злоупотребление началось по перенесении столицы в Петербург… Кругом всей стены Китай-города построены каменные и деревянные лавки».

После этого как раз перед войной 1812 года, насколько возможно, привели стену в порядок. С наружной стороны уничтожили пристройки, а внутренняя сторона осталась по-старому, и вдобавок на Старой площади, между Ильинскими и Никольскими воротами, открылся Толкучий рынок, который в половине восьмидесятых годов был еще в полном блеске своего безобразия. Его великолепно изобразил В.Е. Маковский на картине, которая находится в Третьяковской галерее. Закрыли толкучку только в восьмидесятых годах, но следы ее остались, – она развела трущобы в самом центре города, которые уничтожила только советская власть. Это были лавочки, пристроенные к стене вплоть до Варварских ворот, а с наружной – Лубянская площадь с ее трактирами-притонами и знаменитой «Шиповской крепостью».

В екатерининские времена на этом месте стоял дом, в котором помещалась типография Н.И. Новикова, где он печатал свои издания. Дом этот был сломан тогда же, а потом, в первой половине прошлого столетия, был выстроен новый, который принадлежал генералу Шипову, известному богачу, имевшему в столице силу, человеку весьма оригинальному: он

не брал со своих жильцов плату за квартиру, разрешал селиться по сколько угодно человек в квартире, и никакой не только прописки, но и записей жильцов не велось…

Полиция не смела пикнуть перед генералом, и вскоре дом битком набился сбежавшимися отовсюду ворами и бродягами, которые в Москве орудовали вовсю и носили плоды ночных трудов своих скупщикам краденого, тоже ютившимся в этом доме. По ночам пройти по Лубянской площади было рискованно.

Обитатели «Шиповской крепости» делились на две категории: в одной – беглые крепостные, мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей и хозяев дети, ученики и скрывшиеся из малолетнего отделения тюремного замка, затем московские мещане и беспаспортные крестьяне из ближних деревень. Все это развеселый пьяный народ, ищущий здесь убежища от полиции.

Категория вторая – люди мрачные, молчаливые. Они ни с кем не сближаются и среди самого широкого разгула, самого сильного опьянения никогда не скажут своего имени, ни одним словом не намекнут ни на что былое. Да никто из окружающих и не смеет к ним подступиться с подобным вопросом. Это опытные разбойники, дезертиры и беглые с каторги. Они узнают друг друга с первого взгляда и молча сближаются, как люди, которых связывает какое-то тайное звено. Люди из первой категории понимают, кто они, но, молча, под неодолимым страхом, ни словом, ни взглядом не нарушают их тайны.

Первая категория исчезает днем для своих мелких делишек, а ночью пьянствует и спит.

Вторая категория днем спит, а ночью «работает» по Москве или ее окрестностям, по барским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по проезжим дорогам. Их работа пахнет кровью. В старину их называли «Иванами» а впоследствии – «деловыми ребятами».

И вот, когда полиция после полуночи окружила однажды дом для облавы и заняла входы, в это время возвращавшиеся с ночной добычи «иваны» заметили неладное, собрались в отряды и ждали в засаде. Когда полиция начала врываться в дом, они, вооруженные, бросились сзади на полицию, и началась свалка. Полиция, ворвавшаяся в дом, встретила сопротивление портяночников изнутри и налет «Иванов» снаружи. Она позорно бежала, избитая и израненная, и надолго забыла о новой облаве.

«Иваны», являясь с награбленным имуществом, с огромными узлами, а иногда с возом разного скарба на отбитой у проезжего лошади, дожидались утра и тащили добычу в лавочки Старой и Новой площади, открывавшиеся с рассветом. Ночью к этим лавочкам подойти было нельзя, так как они охранялись огромными цепными собаками. И целые возы пропадали бесследно в этих лавочках, пристроенных к стене, где имелись такие тайники, которых в темных подвалах и отыскать было нельзя.

Лавочки мрачны даже днем, – что в них лежит, разглядеть нельзя. С виду, по наружно выставленному товару, каждая из этих лавочек как бы имеет свою специальную, небогатую торговлю. В одной продавали дешевые меха, в другой – старую, чиненую обувь, в третьей – шерсть и бумагу, в четвертой – лоскут, в пятой – железный и медный лом… Но все это только приличная обстановка для непосвященных, декорация, за которой скрывается самая суть дела. В этих лавчонках, принималось все, что туда ни привозилось и ни приносилось, – от серебряной ложки до самовара и от фарфоровой чашки до надгробного памятника…

Как-то полиции удалось разыскать здесь даже медную десятипудовую пушку, украденную из Кремля.

Днем лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек – от золотых часов до носового платка или сорванной с головы шапки, а на рассвете оптом, узлами, от «иванов» – ночную добычу, иногда еще с необсохшей кровью. Получив деньги, «иваны» шли пировать в свои притоны, излюбленные кабаки и трактиры, в «Ад» на Трубу или «Поляков трактир». Мелкие воры и жулики сходились в притоны вечером, а «иваны» – к утру, иногда даже не заходя в лавочки у стены, и прямо в трактирах, в секретных каморках «тырбанили слам» – делили добычу и тут же сбывали ее трактирщику или специальным скупщикам.

В дни существования «Шиповской крепости» главным разбойничьим притоном был близ Яузы «Поляков трактир», наполненный отдельными каморками, где производился дележ награбленного и продажа его скупщикам. Здесь собирались бывшие люди, которые ничего не боялись и ни над чем не задумывались…

В одной из этих каморок четверо грабителей во время дележа крупной добычи задушили своего товарища, чтобы завладеть его долей… Здесь же, на чердаке, были найдены трубочистом две отрубленные ноги в сапогах.

После дележа начиналось пьянство с женщинами или игра. Серьезные «иваны» не увлекались пьянством и женщинами. Их страстью была игра. Тут «фортунка» и «судьба» и, конечно, шулера.

Трактир Полякова продолжал процветать, пока не разогнали Шиповку. Но это сделала не полиция. Дом после смерти слишком человеколюбивого генерала Шилова приобрело императорское человеколюбивое общество и весьма не человеколюбиво принялось оно за старинных вольных квартирантов. Все силы полиции и войска, которые были вызваны в помощь ей, были поставлены для осады неприступной крепости. Старики, помнящие эту ночь, рассказывали так:

– Нахлынули в темную ночь солдаты – тишина и мрак во всем доме. Входят в первую квартиру – темнота, зловоние и беспорядок, на полах рогожи, солома, тряпки, поленья. Во всей квартире оказалось двое: хозяин да его сын-мальчишка.

В другой та же история, в третьей – на столе полштофа вина, куски хлеба и огурцы – и ни одного жильца. А у всех выходов – солдаты, уйти некуда. Перерыли сараи, погреба, чуланы – нашли только несколько человек, молчаливых как пни, и только утром заря и первые лучи солнца открыли тайну, осветив крышу, сплошь усеянную оборванцами, лежащими и сидящими. Их согнали вниз, даже не арестовывали, а просто выгнали из дома, и они бросились толпами на пустыри реки Яузы и на Хитров рынок, где пооткрывался ряд платных ночлежных домов. В них-то и приютились обитатели Шиповки из первой категории, а «иваны» первое время поразбрелись, а потом тоже явились на Хитров и заняли подвалы и тайники дома Ромейко в «Сухом овраге».

Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустило в него такую же рвань, только с паспортами, и так же тесно связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные, сапожники, барышники и торговцы с рук, покупщики краденого.

Целые квартиры заняли портные особой специальности – «раки». Они были в распоряжении хозяев, имевших свидетельство из ремесленной управы. «Раками» их звали потому, что они вечно, «как раки на мели», сидели безвыходно в своих норах, пропившиеся до последней рубашки.

Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде был он населен грабителями, а теперь заселился законно прописанными «коммерсантами», неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя, «коммерсантами», сделавшими из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденое.

Смело можно сказать, что ни один домовладелец не получал столько верных и громадных процентов, какие получали эти съемщики квартир и приемщики краденого.

В этом громадном трехэтажном доме, за исключением нескольких лавок, харчевен, кабака в нижнем этаже и одного притона-трактира, вся остальная площадь состояла из мелких, грязных квартир. Они были битком набиты базарными торговками с их мужьями или просто сожителями.

Квартиры почти все на имя женщин, а мужья состоят при них. Кто портной, кто сапожник, кто слесарь. Каждая квартира была разделена перегородками на углы и койки… В такой квартире в трех-четырех разгороженных комнатках жило человек тридцать, вместе с детьми…

Летом с пяти, а зимой с семи часов вся квартира на ногах. Закусив наскоро, хозяйки и жильцы, перекидывая на руку вороха разного барахла и сунув за пазуху туго набитый кошелек, грязные и оборванные, бегут на толкучку, на промысел. Это съемщики квартир,

которые сами работают с утра до ночи. И жильцы у них такие же. Даже детишки вместе со старшими бегут на улицу и торгуют спичками и папиросами без бандеролей, тут же сфабрикованными черт знает из какого табака.

Раз в неделю хозяйки кое-как моют и убирают свою квартиру или делают вид, что убирают, – квартиры загрязнены до невозможности, и их не отмоешь. Но есть хозяйки, которые никогда или, за редким исключением, не больше двух раз в году убирают свои квартиры, населенные ворами, пьяницами и проститутками.

Эти съемщицы тоже торгуют хламьем, но они выходят позже на толкучку, так как к вечеру обязательно напиваются пьяные со своими сожителями…

Первая категория торговок являлась со своими мужьями и квартирантами на толкучку чуть свет и сразу успевала запастись свежим товаром, скупаемым с рук, и надуть покупателей своим товаром. Они окружали покупателя, и всякий совал, что у него есть: и пиджак, и брюки, и фуражку, и белье.

Все это рваное, линючее, ползет чуть не при первом прикосновении. Калоши или сапоги окажутся подклеенными и замазанными, черное пальто окажется серо-буро-малиновым, на фуражке после первого дождя выступит красный околыш, у сюртука одна пола окажется синей, другая – желтой, а полспины – зеленой. Белье расползается при первой стирке. Это все «произведения» первой категории шиповских ремесленников, «выдержавших экзамен» в ремесленной управе.

Чуть свет являлись на толкучку торговки, барахольщики первой категории и скупщики из «Шипова дома», а из желающих продать – столичная беднота: лишившиеся места чиновники приносили последнюю шинелишку с собачьим воротником, бедный студент продавал сюртук, чтобы заплатить за угол, из которого его гонят на улицу, голодная мать, продающая одеяльце и подушку своего ребенка, и жена обанкротившегося купца, когда-то богатая, боязливо предлагала самовар, чтобы купить еду сидящему в долговом отделении мужу.

Вот эти-то продавцы от горькой нужды – самые выгодные для базарных коршунов. Они стаей окружали жертву, осыпали ее насмешками, пугали злыми намеками и угрозами и окончательно сбивали с толку.

– Почем?

– Четыре рубля, – отвечает сконфуженный студент, никогда еще не видавший толкучки.

– Га! Четыре! А рублевку хошь?

Его окружали, щупали сукно, смеялись и стояли все на рубле, и каждый бросал свое едкое слово:

– Хапаный!.. Покупать не стоит. Еще попадешься!

Студент весь красный… Слезы на глазах. А те рвут… рвут…

Плачет голодная мать.

– Может, нечистая еще какая!

И торговка, вся обвешанная только что купленным грязным тряпьем, с презрением отталкивает одеяло и подушку, а сама так и зарится на них, предлагая пятую часть назначенной цены.

– Должно быть, краденый, – замечает старик барышник, напрасно предлагавший купчихе три рубля за самовар, стоящий пятнадцать, а другой маклак ехидно добавлял, видя, что бедняга обомлела от ужаса:

– За будочником бы спосылать…

Эти приемы всегда имели успех: и сконфуженный студент, и горемыка-мать, и купчиха уступали свои вещи за пятую часть стоимости, только видавший виды чиновник равнодушно твердит свое да еще заступается за других, которых маклаки собираются обжулить. В конце концов, он продает свой собачий воротник за подходящую цену, которую ему дают маклаки, чтобы только он «не отсвечивал».

Это картина самого раннего утра, когда вторая категория еще опохмеляется. Но вот

выползает и она. Площадь меняет свое население, часы обирательства бедноты сменяются часами эксплуатации пороков и слабостей человеческих. На толкучке толчется масса пьяниц, притащивших и свое и чужое добро, чтобы только добыть на опохмелку. Это типы, подходящие к маклакам второй категории, и на них другой способ охоты приноровлен, потому что эти продавцы – народ не совестливый и не трусливый, их и не запугаешь и не заговоришь. На одно слово десять в ответ, да еще родителей до прабабушки помянут.

Сомнительного продавца окружают маклаки. Начинают рассматривать вещь, перевертывать на все стороны, смотреть на свет и приступают к торгу, предлагая свою цену:

– Два рубля? Полтора! Гляди сам, больше не стоит!

– Сказал два, меньше ни копья!

– Ну без четверти бери, леший ты упрямый!

– Два! – безапелляционно отрезает тот.

– Ну, держи деньги, что с тобой делать! – как бы нехотя говорит торговка, торопливо сует продавцу горсть мелочи и вырывает у него купленную вещь.

Тот начинает считать деньги, и вместо двух у него оказывается полтора.

– Давай полтину! Ведь я за два продавал. Торговка стоит перед ним невозмутимо.

– Отдай мою вещь назад!

– Да бери, голубок, бери, мы ведь силой не отнимаем, – говорит торговка и вдруг с криком ужаса: – Да куды ж это делось-то? Ах, батюшки-светы, ограбили, среди белого дня ограбили!

И с этими словами исчезает в толпе.

Жаждущие опохмелиться отдают вещь за то, что сразу дадут, чтобы только скорее вина добыть – нутро горит.

Начиная с полдня являются открыто уже не продающие ничего, а под видом покупки проходят в лавочки, прилепленные в Китайской стене на Старой площади, где, за исключением двух-трех лавочек, все занимаются скупкой краденого.

На углу Новой площади и Варварских ворот была лавочка рогожского старообрядца С.Т. Большакова, который торговал старопечатными книгами и дониконовскими иконами. Его часто посещали ученые и писатели. Бывали профессора университета и академики. Рядом с ним еще были две такие же старокнижные лавки, а дальше уж, до закрытия толкучки, в любую можно сунуться с темным товаром.

Толкучка занимала всю Старую площадь – между Ильинкой и Никольской, и отчасти Новую – между Ильинкой и Варваркой. По одну сторону – Китайская стена, по другую – ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями. В верхних этажах – конторы и склады, а в нижних – лавки с готовым платьем и обувью.

Все это товар дешевый, главным образом русский: шубы, поддевки, шаровары или пальто и пиджачные и сюртучные пары, сшитые мешковато для простого люда. Было, впрочем, и «модье» с претензией на шик, сшитое теми же портными.

Лавки готового платья. И здесь, так же как на Сухаревке, насильно затаскивали покупателя. Около входа всегда галдеж от десятка «зазывал», обязанностью которых было хватать за полы проходящих по тротуарам и тащить их непременно в магазин, не обращая внимания, нужно или не нужно ему готовое платье.

– Да мне не надо платья! – отбивается от двух молодцов в поддевках, ухвативших его за руки, какой-нибудь купец или даже чиновник.

– Помилте, вышздоровье, – или, если чиновник, – васкобродие, да вы только поглядите товар.

И каждый не отстает от него, тянет в свою сторону, к своей лавке.

А если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и уговорят купить, если не для себя, то для супруги, для деток или для кучера… Великие мастера были «зазывалы»!

– У меня только в лавку зайди, не надо, да купит! Уговорю!.. – скажет хороший «зазывала». И действительно уговорит.

Такие же «зазывалы» были и у лавок с готовой обувью на Старой площади, и в закоулках Ямского приказа на Москворецкой улице.

И там и тут торговали специально грубой привозной обувью – сапогами и башмаками, главным образом кимрского производства. В семидесятых годах еще практиковались бумажные подметки, несмотря на то, что кожа сравнительно была недорога, но уж таковы были девизы и у купца и у мастера: «на грош пятаков» и «не обманешь – не продашь».

Конечно, от этого страдал больше всего небогатый люд, а надуть покупателя благодаря «зазывалам» было легко. На последние деньги купит он сапоги, наденет, пройдет две-три улицы по лужам в дождливую погоду – глядь, подошва отстала и вместо кожи бумага из сапога торчит. Он обратно в лавку… «Зазывалы» уж узнали, зачем, и на его жалобы закидают словами и его же выставят мошенником: пришел, мол, халтуру сорвать, купил на базаре сапоги, а лезешь к нам…

– Ну, ну, в какой лавке купил?

Стоит несчастный покупатель, растерявшись, глядит – лавок много, у всех вывески и выходы похожи и у каждой толпа «зазывал»…

Заплачет и уйдет под улюлюканье и насмешки… Был в шестидесятых годах в Москве полицмейстер Лужин, страстный охотник, державший под Москвой свою псарню. Его доезжачему всучили на Старой площади сапоги с бумажными подошвами, и тот пожаловался на это своему барину, рассказав, как и откуда получается купцами товар. Лужин послал его узнать подробности этой торговли. Вскоре охотник пришел и доложил, что сегодня рано на Старую площадь к самому крупному оптовику-торговцу привезли несколько возов обуви из Кимр.

Лужин, захватив с собой наряд полиции, помчался на Старую площадь и неожиданно окружил склады обуви, указанные ему. Местному приставу он ничего не сказал, чтобы тот не предупредил купца. Лужин поспел в то самое время, когда с возов сваливали обувь в склады. Арестованы были все: и владельцы складов, и их доверенные, и приехавшие из Кимр с возами скупщики, и продавцы обуви. Опечатав товар и склады, Лужин отправил арестованных в городскую полицейскую часть, где мушкетеры выпороли и хозяев склада, и кимрских торговцев, привезших товар.

Купцы под розгами клялись, что никогда таким товаром торговать не будут, а кимряки после жестокой порки дали зарок, что не только они сами, а своим детям, внукам и правнукам закажут под страхом отцовского проклятия ставить бумажные подошвы.

И действительно, кимряки стали работать по чести, о бумажных подметках вплоть до турецкой войны 1877–1878 годов не слышно было.

Но во время турецкой войны дети и внуки кимряков были «вовлечены в невыгодную сделку», как они объясняли на суде, поставщиками на армию, которые дали огромные заказы на изготовление сапог с бумажными подметками. И лазили по снегам балканским и кавказским солдаты в разорванных сапогах, и гибли от простуды… И опять с тех пор пошли бумажные подметки… на Сухаревке, на Смоленском рынке и по мелким магазинам с девизом «на грош пятаков» и «не обманешь – не продашь».

Только с уничтожением толкучки в конце восьмидесятых годов очистилась Старая площадь, и «Шипов дом» принял сравнительно приличный вид.

Отдел благоустройства МКХ в 1926 году привел китай-городскую стену – этот памятник старой Москвы – в тот вид, в каком она была пятьсот лет назад, служа защитой от набегов врага, а не тем, что застали позднейшие поколения.

Вспоминается бессмертный Гоголь:

«Возле того забора навалено на сорок телег всякого мусора. Что за скверный город. Только поставь какой-нибудь памятник или просто забор – черт их знает, откудова и нанесут всякой дряни…»

Такова была до своего сноса в 1934 году китайгородская стена, еще так недавно находившаяся в самом неприглядном виде. Во многих местах стена была совершенно разрушена, в других чуть не на два метра вросла в землю, башни изуродованы

поселившимися в них людьми, которые на стенах развели полное хозяйство: дачи не надо!

…Возле древней башни
На стенах старинных были чуть не пашни.

Из расщелин стен выросли деревья, которые были видны с Лубянской, Варварской, Старой и Новой площадей.

## Подземная Москва

За сорок пять лет моей жизни в Москве я такого ливня не видал.

Какие сцены!

Столешников переулок представляет из себя бурный поток, несущий щепки, хлам, поленья дров и большущую бочку. За ней по тротуару мчатся мальчишки по грудь в воде, догоняют ее, ловят, но не в силах удержать. Одному, уже взрослому, удается сесть на нее, но – он кувыркается и тонет, смельчаки с тротуара бросаются и вытаскивают его, не могущего бороться с течением.

Уже на углу Петровки бочка упирается в стоящий по кузов в воде автомобиль, но мальчуганы не в силах ее оторвать. С другой стороны улицы переходит по пояс в воде огромный бородатый дядя, отрывает бочку от автомобиля и, при криках обиженных неудачей добычи мальчуганов, переправляет ее через Петровку и угоняет куда-то по воде…

А поток с шумом мчится через Петровские линии в главный резервуар – Неглинный проезд, представляющий собой реку в разливе…

Пивная на Неглинной с началом дождя наполняется публикой, не желающей намокнуть. Буфетчик радуется: дождик загнал. Служащие мечутся с кружками и бутылками.

Лица довольные, пьют и беседуют…

– Хорошо, дождик-то… Что ни капля – золото.

– Для огородов, для хлеба… благодать. Пьют.

Ливень усиливается… Через порог набегает вода. Гости ставят ноги на перекладину столиков.

– Ишь ты, как разошелся!

И вдруг водопадом через порог хлынули волны мутной воды… Испуганные гости кладут ноги друг другу на стол:

– Извиняюсь. Разрешите.

– Пожалуйста, а я на ваш…

Кто-то лезет на стол. Стулья всплывают… На столах стоит публика с кружками и стаканами в руках… Хозяин по пояс в воде спасает кассу… Кто-то валится с опрокинувшимся столом…

– От дождя – да в воду… – острит горбун, забравшийся на буфет.

Вода прибывает и прибывает… Ужас на лицах…

В окна доносились неистовые крики: спасите!

Тонул кто-то.

Это Неглинка не вместила в себя огромной массы воды…

Широкая, великолепная Неглинка.

Огромный коридор, от Самотеки до Москвы-реки у Каменного моста, перестроенный из узкой клоаки в конце восьмидесятых годов, при существовании которой такие водополья, как эти два последние на Неглинном проезде, были обычными. При всяком небольшом ливне, воду которого не вмещала узкая и засоренная подземная Неглинка, клоака, выстроенная, кажется, в доисторические времена.

Только благодаря вмешательству газет состоялась в срочном порядке эта перестройка. На обычные заметки после каждого наводнения купеческая дума не обращала внимания:

«Пущай их пишут».

В 1884 году в дождливое лето наводнения были ужасны.

И вот в июле я решился опуститься в эту клоаку, написал несколько заметок, и наконец, поручили усмирение Неглинки инженеру Левачеву, моему старому товарищу по охоте на зверя.

## Тайны Неглинки

Трубную площадь и Неглинный проезд почти до самого Кузнецкого моста тогда заливало при каждом ливне, и заливало так, что вода водопадом хлестала в двери магазинов и в нижние этажи домов этого района. Происходило это оттого, что никогда не чищенная подземная клоака Неглинки, проведенная от Самотеки под Цветным бульваром, Неглинным проездом, Театральной площадью и под Александровским садом вплоть до Москвы-реки, не вмещала воды, переполнявшей ее в дождливую погоду. Это было положительно бедствием, но «отцы города» не обращали на это никакого внимания.

В древние времена здесь протекала речка Неглинка. Еще в екатерининские времена она была заключена в подземную трубу: набили свай в русло речки, перекрыли каменным сводом, положили деревянный пол, устроили стоки уличных вод через спускные колодцы и сделали подземную клоаку под улицами. Кроме «законных» сточных труб, проведенных с улиц для дождевых и хозяйственных вод, большинство богатых домовладельцев провело в Неглинку тайные подземные стоки для спуска нечистот, вместо того чтобы вывозить их в бочках, как это было повсеместно в Москве до устройства канализации. И все эти нечистоты шли в Москву-реку.

Это знала полиция, обо всем этом знали гласные-домовладельцы, и все, должно быть, думали: не нами заведено, не нами и кончится!

Побывав уже под Москвой в шахтах артезианского колодца и прочитав описание подземных клоак Парижа в романе Виктора Гюго «Отверженные», я решил во что бы то ни стало обследовать Неглинку. Это было продолжение моей постоянной работы по изучению московских трущоб, с которыми Неглинка имела связь, как мне пришлось узнать в притонах Грачевки и Цветного бульвара.

Мне не трудно было найти двух смельчаков, решившихся на это путешествие. Один из них – беспаспортный водопроводчик Федя, пробавлявшийся поденной работой, а другой – бывший дворник, солидный и обстоятельный. На его обязанности было опустить лестницу, спустить нас в клоаку между Самотекой и Трубной площадью и затем встретить нас у соседнего пролета и опустить лестницу для нашего выхода. Обязанность Феди – сопутствовать мне в подземелье и светить.

И вот в жаркий июльский день мы подняли против дома Малюшина, близ Самотеки, железную решетку спускного колодца, опустили туда лестницу. Никто не обратил внимания на нашу операцию – сделано было все очень скоро: подняли решетку, опустили лестницу. Из отверстия валил зловонный пар. Федя-водопроводчик полез первый; отверстие, сырое и грязное, было узко, лестница стояла отвесно, спина шаркала о стену. Послышалось хлюпанье воды и голос, как из склепа:

– Лезь, что ли!

Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал спускаться. Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоявшей, качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, рабочим, оставшимся наверху. С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко. Наконец послышались шум воды и хлюпанье. Я посмотрел наверх. Мне видны были только четырехугольник голубого, яркого неба и лицо рабочего, державшего лестницу. Холодная, до костей пронизывающая сырость охватила меня.

Наконец я спустился на последнюю ступеньку и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды.

– Опускайся смелей; становись, неглубоко тутотка, – глухо, гробовым голосом сказал мне Федя.

Я встал на дно, и холодная сырость воды проникла сквозь мои охотничьи сапоги.

– Лампочку зажечь не могу, спички подмокли! – жалуется мой спутник.

У меня спичек не оказалось. Федя полез обратно.

Я остался один в этом замурованном склепе и прошел по колено в бурлящей воде шагов десять. Остановился. Кругом меня был мрак. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал.

Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод и нервно отдернул руку… Даже страшно стало. Тихо было, только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы. Это оказался сток нечистот из бокового отверстия в стене. За шумом я не слыхал, как подошел ко мне Федя и толкнул меня в спину. Я обернулся. В руках его была лампочка в пять рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого мрака. Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами. Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть. Это над нами проехала телега. Я вспомнил подобный грохот при моем путешествии в тоннель артезианского колодца, но здесь он был несравненно сильнее. Все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи. С помощью лампочки я осмотрел стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью. Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо – приходилось нагибаться, и все же при этом я доставал головой и плечами свод. Ноги проваливались в грязь, натыкаясь иногда на что-то плотное. Все это заплыло жидкой грязью, рассмотреть нельзя было, да и до того ли было.

Дошагали в этой вони до первого колодца и наткнулись на спущенную лестницу. Я поднял голову, обрадовался голубому небу.

– Ну, целы? Вылазь! – загудел сверху голос.

– Мы пройдем еще, спускай через пролет.

– Ну-к что ж, уж глядеть так глядеть!

Я дал распоряжение перенести лестницу на два пролета вперед; она поползла вверх. Я полюбовался голубым небом, и через минуту, утопая выше колен в грязи и каких-то обломках и переползая уличные отбросы, мы зашагали дальше.

Опять над нами четырехугольник ясного неба. Через несколько минут мы наткнулись на возвышение под ногами. Здесь была куча грязи особенно густой, и, видимо, под грязью было что-то навалено… Полезли через кучу, осветив ее лампочкой. Я ковырнул ногой, и под моим сапогом что-то запружинило… Перешагнули кучу и пошли дальше. В одном из таких заносов мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного дога. Особенно трудно было перебраться через последний занос перед выходом к Трубной площади, где ожидала нас лестница. Здесь грязь была особенно густа, и что-то все время скользило под ногами. Об этом боязно было думать.

А Федю все-таки прорвало:

– Верно говорю: по людям ходим.

Я промолчал. Смотрел вверх, где сквозь железную решетку сияло голубое небо. Еще пролет, и нас ждут уже открытая решетка и лестница, ведущая на волю.

Мои статьи о подземной клоаке под Москвой наделали шуму. Дума постановила начать перестройку Неглинки, и дело это было поручено моему знакомому инженеру Н.М.

Левачеву, известному охотнику, с которым мы ездили не раз на зимние волчьи охоты.

С ним, уже во время работ, я спускался второй раз в Неглинку около Малого театра, где канал делает поворот и где русло было так забито разной нечистью, что вода едва проходила сверху узкой струйкой: здесь и была главная причина наводнений.

Наконец в 1886 году Неглинка была перестроена.

Репортерская заметка сделала свое дело. А моего отчаянного спутника Федю Левачев взял в рабочие, как-то устроил ему паспорт и сделал потом своим десятником.

За десятки лет после левачевской перестройки снова грязь и густые нечистоты образовали пробку в повороте канала под Китайским проездом, около Малого театра. Во время войны наводнение было так сильно, что залило нижние жилые этажи домов и торговые заведения, но никаких мер сонная хозяйка столицы – городская дума не принимала.

Только в 1926 году взялся за Неглинку Моссовет и, открыв ее от Малого театра, под который тогда подводился фундамент, до половины Свердловской площади, вновь очистил загрязненное русло и прекратил наводнения.

Я как-то шел по Неглинной и против Государственного банка увидал посреди улицы деревянный барак, обнесенный забором, вошел в него, встретил инженера, производившего работы, – оказалось, что он меня знал, и на мою просьбу осмотреть работы изъявил согласие. Посредине барака зияло узкое отверстие, из которого торчал конец лестницы.

Я попробовал спуститься, но шуба мешала, – а упускать случай дать интересную заметку в «Вечернюю Москву», в которой я тогда работал, не хотелось. Я сбросил шубу и в одном пиджаке спустился вниз.

Знакомый подземный коридор, освещенный тускливншимися сквозь туман электрическими лампочками. По всему желобу был настлан деревянный помост, во время оттепели все-таки заливавшийся местами водой. Работы уже почти кончились, весь ил был убран, и подземная клоака была приведена в полный порядок.

Я прошел к Малому театру и, продрогший, промочив ноги и нанюхавшись запаха клоаки, вылез по мокрой лестнице. Надел шубу, которая меня не могла согреть, и направился в редакцию, где сделал описание работ и припомнил мое старое путешествие в клоаку.

На другой день я читал мою статью уже лежа в постели при высокой температуре, от гриппа я в конце концов совершенно оглох на левое ухо, а потом и правое оказалось поврежденным.

Это было эпилогом к моему подземному путешествию в бездны Неглинки сорок лет назад.

## Ночь на Цветном бульваре

Дырка в кармане! Что может быть ничтожнее этого?

А случилось так, что именно эта самая маленькая, не замеченная вовремя дырка оказалась причиной многих моих приключений.

Был август 1883 года, когда я вернулся после пятимесячного отсутствия в Москву и отдался литературной работе: писал стихи и мелочи в «Будильнике», «Развлечении», «Осколках», статьи по различным вопросам, давал отчеты о скачках и бегах в московские газеты. Между ипподромными знакомыми всех рангов и положений пришлось познакомиться с людьми самых темных профессий, но всегда щегольски одетых, крупных игроков в тотализатор. Я усиленно поддерживал подобные знакомства: благодаря им я получал интересные сведения для газет и проникал иногда в тайные игорные дома, где меня не стеснялись и где я встречал таких людей, которые были приняты в обществе, состояли даже членами клубов, а на самом деле были или шулера, или аферисты, а то и атаманы шаек. Об этом мирке можно написать целую книгу. Но я ограничусь только воспоминаниями об одном завсегдатае бегов, щеголе-блондине с пушистыми усами, имевшем даже собственного рысака, бравшего призы.

В тот день, когда произошла история с дыркой, он подошел ко мне на ипподроме за советом: записывать ли ему свою лошадь на следующий приз, имеет ли она шансы? На подъезде, после окончания бегов, мы случайно еще раз встретились, и он предложил по случаю дождя довезти меня в своем экипаже до дому. Я отказывался, говоря, что еду на Самотеку, а это ему не по пути, но он уговорил меня и, отпустив кучера, лихо домчал в своем шарабане до Самотеки, где я зашел к моему старому другу художнику Павлику Яковлеву.

Дорогой все время разговаривали о лошадях, – он считал меня большим знатоком и уважал за это.

От Яковлева я вышел около часа ночи и зашлепал в своих высоких сапогах по грязи средней аллеи Цветного бульвара, по привычке сжимая в правом кармане неразлучный кастет – подарок Андреева-Бурлака. Впрочем, эта предосторожность была излишней: ни одной живой души, когда

Осенний мелкий дождичек
Сеет, сеет сквозь туман.

Ночь была непроглядная. Нигде ни одного фонаря, так как по думскому календарю в те ночи, когда должна светить луна, уличного освещения не полагалось, а эта ночь по календарю считалась лунной. А тут еще вдобавок туман. Он клубился над кустами, висел на деревьях, казавшихся от этого серыми призраками.

В такую только ночь и можно идти спокойно по этому бульвару, не рискуя быть ограбленным, а то и убитым ночными завсегдатаями, выходящими из своих трущоб в грачевских переулках и Арбузовской крепости, этого громадного бывшего барского дома, расположенного на бульваре.

Самым страшным был выходящий с Грачевки на Цветной бульвар Малый Колосов переулок, сплошь занятый полтинными, последнего разбора публичными домами. Подъезды этих заведений, выходящие на улицу, освещались обязательным красным фонарем, а в глухих дворах ютились самые грязные тайные притоны проституции, где никаких фонарей не полагалось и где окна завешивались изнутри.

Характерно, что на всех таких дворах не держали собак… Здесь жили женщины, совершенно потерявшие образ человеческий, и их «коты», скрывавшиеся от полиции, такие, которым даже рискованно было входить в ночлежные дома Хитровки. По ночам «коты» выходили на Цветной бульвар и на Самотеку, где их «марухи» замарьяживали пьяных. Они или приводили их в свои притоны, или их тут же раздевали следовавшие по пятам своих «дам» «коты». Из последних притонов вербовались «составителями» громилы для совершения преступлений, и сюда никогда не заглядывала полиция, а если по требованию высшего начальства, главным образом прокуратуры, и делались обходы, то «хозяйки» заблаговременно знали об этом, и при «внезапных» обходах никогда не находили того, кого искали…

Хозяйки этих квартир, бывшие проститутки большей частью, являлись фиктивными содержательницами, а фактическими были их любовники из беглых преступников, разыскиваемых полицией, или разные не попавшиеся еще аферисты и воры.

У некоторых шулеров и составителей игры имелись при таких заведениях сокровенные комнаты, «мельницы», тоже самого последнего разбора, предназначенные специально для обыгрывания громил и разбойников, которые только в такие трущобы являлись для удовлетворения своего азарта совершенно спокойно, зная, что здесь не будет никого чужого. Пронюхают агенты шулера – составителя игры, что у какого-нибудь громилы после удачной работы появились деньги, сейчас же устраивается за ним охота. В известный день его приглашают на «мельницу» поиграть в банк – другой игры на «мельницах» не было, – а к известному часу там уж собралась стройно спевшаяся компания шулеров, приглашается и исполнитель, банкомет, умеющий бить наверняка каждую нужную карту, – и деньги

азартного вора переходят компании. Специально для этого и держится такая «мельница», а кроме того, в ней в дни, не занятые «деловыми», играет всякая шпана мелкотравчатая и дает верный доход – с банка берут десять процентов. На большие «мельницы», содержимые в шикарных квартирах, «деловые ребята» из осторожности не ходили – таких «мельниц» в то время в Москве был десяток на главных улицах.

Временем наибольшего расцвета такого рода заведений были восьмидесятые годы. Тогда содержательницы притонов считались самыми благонамеренными в политическом отношении и пользовались особым попустительством полиции, щедро ими оплачиваемой, а охранное отделение не считало их «опасными для государственного строя» и даже покровительствовало им вплоть до того, что содержатели притонов и «мельниц» попадали в охрану при царских проездах. Тогда полиция была занята только вылавливанием «неблагонадежных», революционно настроенных элементов, которых арестовывали и ссылали сотнями.

И блаженствовал трущобный мир на Грачевке и Цветном бульваре…

Я шагал в полной тишине среди туманных призраков и вдруг почувствовал какую-то странную боль в левой ноге около щиколотки; боль эта стала в конце концов настолько сильной, что заставила меня остановиться. Я оглядывался, куда бы присесть, чтоб переобуться, но скамейки нигде не было видно, а нога болела нестерпимо.

Тогда я прислонился к дереву, стянул сапог и тотчас открыл причину боли: оказалось, что мой маленький перочинный ножик провалился из кармана и сполз в сапог. Сунув ножик в карман, я стал надевать сапог и тут услышал хлюпанье по лужам и тихий разговор. Я притих за деревом. Со стороны Безымянки темнеет на фоне радужного круга от красного фонаря тихо движущаяся группа из трех обнявшихся человек.

– Заморился, отдохнем… Ни живой собаки нет…

– Эх, нюня дохлая! Ну, опускай…

Крайние в группе наклонились, бережно опуская на землю среднего.

«Пьяного ведут», – подумал я.

Успеваю рассмотреть огромную фигуру человека в поддевке, а рядом какого-то куцего, горбатого. Он качал рукой и отдувался.

– Какой здоровущий был, все руки оттянул! А здоровущий лежал плашмя в луже.

– Фокач, бросим его тут… а то в кусты рядом…

– Это у будки-то, дуроплясина! Побегут завтра лягаши по всем «хазам»…

– В трубу-то вернее, и концы в воду!

– Делать, так делать вглухую. Ну, берись! Теперь на руках можно.

Большой взял за голову, маленький – за ноги, и понесли, как бревно.

Я – за ними, по траве, чтобы не слышно. Дождик перестал. Журчала вода, стекая по канавке вдоль тротуара, и с шумом падала в приемный колодец подземной Неглинки сквозь железную решетку. Вот у нее-то «труженики» остановились и бросили тело на камни.

– Поднимай решеть!

Маленький наклонился, а потом выпрямился:

– Чижало, не могу!

– Эх, рвань дохлая!

Гигант рванул и сдвинул решетку. «Эге, – сообразил я, – вот что значит: „концы в воду“». Я зашевелился в кустах, затопал и гаркнул на весь бульвар:

– Сюда, ребята! Держи их!

И, вынув из кармана полицейский свисток, который на всякий случай всегда носил с собой, шляясь по трущобам, дал три резких, продолжительных свистка.

Оба разбойника метнулись сначала вдоль тротуара, а потом пересекли улицу и скрылись в кустах на пустыре.

Я подбежал к лежавшему, нащупал лицо. Борода и усы бритые… Большой стройный человек. Ботинки, брюки, жилет, а белое пятно оказалось крахмальной рубахой. Я взял его

руку – он шевельнул пальцами. Жив!

Я еще тройной свисток – и мне сразу откликнулись с двух разных сторон. Послышались торопливые шаги: бежал дворник из соседнего дома, а со стороны бульвара – городовой, должно быть, из будки… Я спрятался в кусты, чтобы удостовериться, увидят ли человека у решетки. Дворник бежал вдоль тротуара и прямо наткнулся на него и засвистал. Подбежал городовой… Оба наклонились к лежавшему. Я хотел выйти к ним, но опять почувствовал боль в ноге: опять провалился ножик в дырку!

И это решило дальнейшее: зря рисковать нечего, завтра узнаю.

Я знал, что эта сторона бульвара принадлежит первому участку Сретенской части, а противоположная с Безымянкой, откуда тащили тело, – второму.

На Трубной площади я взял извозчика и поехал домой.

К десяти часам утра я был уже под сретенской каланчой, в кабинете приставаЛарепланда. Я с ним был хорошо знаком и не раз получал от него сведения для газет. У него была одна слабость. Бывший кантонист, десятки лет прослужил в московской полиции, дошел из городовых до участкового, получил чин коллежского асессора и был счастлив, когда его называли капитаном, хотя носил погоны гражданского ведомства.

– Капитан, я сейчас получил сведения, что сегодня ночью нашли убитого на Цветном бульваре.

– Во-первых, никакого убитого не было, а подняли пьяного, которого ограбили на Грачевке, перетащили его в мой участок и подкинули. Это уж у воров так заведено, – чтобы хлопот меньше и им и нам. Кому надо в чужом участке доискиваться! А доказать, что перетащили, нельзя. Это первое. А второе: покорнейшая к вам просьба об этом ни слова в газете не писать. Я даже протокола не составлял и дело прикончил сам. Откуда только вы узнали – диву даюсь! Этого никто, кроме поднявших городовых да потерпевшего, не знает… А он-то и просил прекратить дело. Нет, уж вы, пожалуйста, не пишите, а то меня подведете, – я и обер-полицмейстеру не доносил.

И рассказал мне Ларепланд, что ночью привезли бесчувственно пьяного, чуть не догола раздетого человека, которого подняли на мостовой, в луже.

– Сперва думали – мертвый, положили в часовню, где два тела опившихся лежали, а он зашевелился и заговорил. Сейчас – в приемный покой, отходили, а утром я с ним разговаривал. Оказался богатый немец, в конторе Вогау его брат служит. Сейчас же его вызвали, он приехал в карете и увез брата. Немец загулял, попал в притон, девки затащили, а там опоили его «малинкой», обобрали и выбросили на мой участок. Это у нас то и дело бывает… То из того ко мне подарок, то наши ребята во второй подкинут… Там капитан Капени (тоже кантонист) мой приятель, ну и прекращаем дело. Да и пользы никому нет – все по-старому будет, одни хлопоты. Хорошо, что еще жив остался – вовремя признак жизни подал!

Молодой, красивый немец… Попал в притон в нетрезвом виде, заставили его пиво пить вместе с девками. Помнит только, что все пили из стаканов, а ему поднесли в граненой кружке с металлической крышкой, а на крышке птица, – ее только он и запомнил…

Я пообещал ничего не писать об этом происшествии и, конечно, ничего не рассказал приставу о том, что видел ночью, но тогда же решил заняться исследованием Грачевки, так похожей на Хитровку, Арженовку, Хапиловку и другие трущобы, которые я не раз посещал.

## Кружка с орлом

В свободный вечер попал на Грачевку.

Послушав венгерский хор в трактире «Крым» на Трубной площади, где встретил шулеров – постоянных посетителей скачек – и кой-кого из знакомых купцов, я пошел по грачевским притонам, не официальным, с красными фонарями, а по тем, которые ютятся в подвалах на темных, грязных дворах и в промозглых «фатерах» «Колосовки», или «Безымянки», как ее еще иногда называли.

К полуночи этот переулок, самый воздух которого был специфически зловонен, гудел своим обычным шумом, в котором прорывались звуки то разбитого фортепьяно, то скрипки, то гармоники; когда отворялись двери под красным фонарем, то неслись пьяные песни.

В одном из глухих, темных дворов свет из окон почти не проникал, а по двору двигались неясные тени, слышались перешептывания, а затем вдруг женский визг или отчаянная ругань…

Передо мной одна из тех трущоб, куда заманиваются пьяные, которых обирают дочиста и выбрасывают на пустыре.

Около входов стоят женщины, показывают «живые картины» и зазывают случайно забредших пьяных, обещая за пятак предоставить все радости жизни вплоть до папироски за ту же цену…

Когда я пересек двор и подошел к входу в подвал, расположенному в глубине двора, то услыхал приглашение на французском языке и далее по-русски:

– Зайдите к нам, у нас весело! От стены отделилась высокая женщина и за рукав потащила меня вниз по лестнице.

– У нас и водка и пиво есть.

Вошли. Перед глазами мельтешился красноватый свет среди пара и копоти. Хаос звуков. Под черневшими сводами огромной комнаты стояли три стола. На стене близ двери коптила жестяная лампочка, и черная струйка дыма расходилась воронкой под сводом, сливаясь незаметно с черным от сажи потолком. На двух столах стояли такие же лампочки, пустые бутылки, валялись объедки хлеба, огурцов, селедки. На крайнем к окну столе шла ожесточенная игра в банк. Метал плотный русак богатырского сложения, с окладистой, степенной бородой, в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти исчезала колода карт. Кругом теснились оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры.

– Семитка око…

– Имею – пятак. На пе.

– Угол от пятака… – слышались возгласы игроков. Дальше, сквозь отворенную дверь, виднелась другая такая же комната. Там тоже стоял в глубине стол, но уже с двумя свечками, и за столом тоже шла игра в карты…

Передо мной, за столом без лампы, сидел небритый бледный человек в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом:

И чай пил-ла, и б-булк-и ела,
Поз-за-была и с кем си-идела.

Испитой юноша, на вид лет семнадцати, в лакированных сапогах, в венгерке и в новом картузе на затылке, стуча дном водочного стакана по столу, убедительно доказывал что-то маленькому потрепанному человечку:

– Слушай, ты…

– И что слушай? Что слушай? Работали вместе, и слам пополам…

– Оно пополам и есть!.. Ты затырка, я по ширмохе, тебе лопатошник, а мне бака… В лопатошнике две красных!..

– Бака-то полета ходит, небось анкер…

– Провалиться, за четвертную ушла…

– Заливаешь!

– Пра-слово! Чтоб сдохнуть!

– Где же они?

– Прожил! Вот коньки лаковые, вот чепчик… Ни финаги в кармане!

– Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз!

Испитой юноша посмотрел на меня, и я услышал, как он прошептал:

– Не лягаш ли?

– Тебе все лягавые чудятся…

– Не-ет. Просто стрюк шатаный…

– Да вот сейчас узнаем… – Он обратился к приведшей меня «даме»: – Па-алковни-ца, что, кредитного свово, что ли, привела?

Полковница повернула в говорившему свое строгое, густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими черными, глубоко запавшими глазами и крикнула:

– Барин выпить хочет. Садитесь, садитесь! Je vous prie!

– Садись – гость будешь, вина купишь – хозяин будешь! – крикнул бородач-банкомет, тасовавший карты. Я сел рядом с Оськой.

– Что ж, барин, ставь вина, угощай свою полковницу, – проговорил юноша в венгерке.

– Изволь!

– Да уж расшибись на рупь-целковый, всех угощай. Вон и барон мучится с похмелья.

Мужчина в форменной фуражке лихо подлетел ко мне и скороговоркой выпалил:

– Барон Дорфгаузен… Отто Карлович… Прошу любить и жаловать, – он шаркнул ножкой в опорках.

– Вы барон? – спросил я.

– Ma parole! Даю слово! Барон и губернский секретарь… в Лифляндии родился, в Берлине обучался, в Москве с кругу спился и вдребезги проигрался… Одолжите двугривенный. Пойду отыгрываться… До первой встречи.

– Извольте!

И через минуту слышался его властный голос:

– Куш под картой. Имею… Имею…

– Верно, господин, он настоящий барон, – зашептал мне Оська. – Теперь свидетельства на бедность да разные фальшивые удостоверения строчит… А как печати на копченом стекле салит! Ежели желаете вид на жительство – прямо к нему. И такция недорогая… Сейчас ежели плакат, окромя бланка, полтора рубля, вечность – три.

– Вечность?

– Да, дворянский паспорт или указ об отставке… С чинами, с орденами пропишет…

– Барон… Полковница… – в раздумье проговорил я.

– И полковница настоящая, а не то что какая-нибудь подполковница… Она с самим живет… Заведение на ее имя.

Тут полковница перебила его и, пересыпая речь безграмотными французскими фразами, начала рассказывать, как ее выдали подростком еще за старика, гарнизонного полковника, как она с соседом-помещиком убежала за границу, как тот ее в Париже бросил, как впоследствии она вернулась домой, да вот тут в Безымянке и очутилась.

– Ну ты, стерва, будет языком трепать, тащи пива! – крикнул, не оглядываясь, банкомет.

– Несу, оголтелый, чего орешь, каторга!

– Унгдюк! Не везет… А? Каково? Нет, вы послушайте. Ставлю на шестерку куш – дана! На пе. Имею полкуша на пе, очки вперед… Взял. Отгибаюсь – бита. Тем же кушем иду – бита… Ставлю на смарку – бита! Подряд, подряд!..

– Проиграли, значит?

– Вдрызг! А ведь только последнюю бы дали – и я крез! Талию изучил – и вдруг бита!.. Одолжите еще… до первой встречи… Тот же куш…

Опять даю двугривенный.

– Ол-райт! Это по-барски… До первой встречи!.. Полковница налила пива в четыре стакана, а для меня в хрустальную кружку с мельхиоровой крышкой, на которой красовался орел.

Барон оторвался на минуту от карт и, подняв стакан, молодецки возгласил:

– За здоровье дам! Ур-ра!..

– А вы что же не пьете? Кушайте! – обратилась ко мне полковница.

– Не пью пива… – коротко ответил я.

В это время игра кончилась.

Банкомет, сунув карты и деньги в карман и убавив огонь в лампе, встал.

– Шабаш, до завтра! Выкидывайтесь все отсель.

Игроки, видимо привыкшие ему повиноваться, мгновенно поднялись и молча ушли. Остался только барон, все еще ерепенившийся. Банкомет выкинул ему двугривенный:

– Подавись и выкидывайся!.. Надоел ты мне. Куш под картой, очки вперед!.. На грош амуниции, на рубль амбиции! Уходи, не проедайся!

Банкомет взял за плечи барона и вмиг выставил его за дверь, которую тотчас же запер на крюк. Даже выругаться барон не успел. Остались: Оська, карманник в венгерке, пьяная баба, полковница и банкомет. Он подсел к нам.

Из соседней комнаты доносились восклицания картежников. Там, должно быть, шла игра серьезная.

Полковница вновь наполнила пивом стаканы, а мне придвинула мою нетронутую кружку:

– Кушайте же, не обижайте нас.

– Да ведь не один же я? Вот и молодой человек не пьет…

– Шалунок-то? Ему нельзя, – сказал Оська.

– Ему доктор запретил… – успокоила полковница.

– А вот вы, барин, чего не пьете? У нас так не полагается. Извольте пить! – сказал бородач-банкомет и потянулся ко мне чокаться.

Я отказался.

– Считаю это за оскорбление. Вы брезгуете нами! Это у нас не полагается. Пейте! Ну? Не доводи до греха, пей!

– Нет!

– А, нет? Оська, лей ему в глотку!

Банкомет вскочил со стула, схватил меня одной рукой за лоб, а другой за подбородок, чтобы раскрыть мне рот. Оська стоял с кружкой, готовый влить пиво насильно мне в рот.

Это был решительный момент. Я успел выхватить из кармана кастет и прямым ударом ткнул в зубы нападавшего. Он с воем грохнулся на пол.

– Что еще там? – раздался позади меня голос, и из двери вышел человек в черном сюртуке, а следом за ним двое остановились на пороге, заглядывая к нам. Человек в сюртуке повернулся ко мне, и мы оба замерли от удивления.

– Это вы? – воскликнул человек в сюртуке и одним взмахом отшиб в сторону вскочившего с пола и бросившегося на меня банкомета, борода которого была в крови. Тот снова упал. Передо мной, сконфуженный и пораженный, стоял беговой «спортсмен», который вез меня в своем шарабане. Все остальные окаменели.

Он выхватил из рук еще стоявшего у стола Оськи кружку с пивом и выплеснул на пол.

– Убери! – приказал он дрожавшей от страха полковнице. – Владимир Алексеевич, как вы сюда попали? Зайдемте ко мне в комнату.

– Ну вас к черту! Я домой…

И, надвинув шапку, я шагнул к двери. На полу стонал, лежа на брюхе и выплевывая зубы, банкомет.

– Нет, нет, я вас провожу!..

Выскочил за мной, под локоть помогая мне подняться по избитым камням лестницы, и бормотал извинения…

Я упорно молчал. В голове мелькало: «Концы в воду, Ларепланд с „малинкой“, немец, кружка с птицей…»

«Спортсмен» продолжал рассыпаться передо мной в извинениях и между прочим сказал:

– Все-таки я вас спас от Самсона. Он ведь мог вас изуродовать.

– Ну, спас-то я себя сам, потому что «малинки» не выпил.

– Откуда вы знаете? – встрепенулся он и вдруг спохватился и уже другим тоном

добавил: – Какой такой «малинки»?

– А которую ты выплеснул из кружки. Мало ли что я знаю.

– Вы… вы… – Зубы стучали, слово не выходило.

– Все знаю, да молчать умею.

– Вижу-с. Вот потому-то я хотел, чтобы вы ко мне в комнату зашли. Там отдельный выход. Приятели собрались… В картишки поиграть. Ведь я здесь не живу…

– Видел… Голиафа, маркера, узнал.

– Да… он под рукой сидел… метал Кречинский. Там еще Цапля… Потом Ватошник, потом…

– Ватошник? Тимошка? Да ведь он сыщик!

– Кому сыщик, а нам дружок… Еще раз, простите великодушно.

– Помни: я все знаю, но и виду не подам никогда. Будто ничего не было. Прощай! – крикнул я ему уже из калитки…

При встречах «спортсмен» старался мне не показываться на глаза, но раз поймал меня одного на беговой аллее и дрожащим голосом зашептал:

– Обещались, Владимир Алексеевич, а вот в газете-то что написали? Хорошо, что никто внимания не обратил, прошло пока… А ведь как ясно – Феньку все знают за полковницу, а барона по имени-отчеству целиком назвали, только фамилию другую поставили, его ведь вся полиция знает, он даже прописанный. Главное вот барон…

– Ну, успокойся, больше не буду.

Действительно, я напечатал рассказ «В глухую», где подробно описал виденный мною притон, игру в карты, отравленного «малинкой» гостя, которого потащили сбросить в подземную клоаку, приняв за мертвого. Только Колосов переулок назвал Безымянным. Обстановку описал и в подробностях, как живых, действующих лиц. Барон Дорфгаузен, Отто Карлович… и это действительно было его настоящее имя.

А эпиграф к рассказу был такой:

«…При очистке Неглинного канала находили кости, похожие на человеческие…»

## Драматурги из «Собачьего зала»

Все от пустяков – вроде дырки в кармане. В те самые времена, о которых я пишу сейчас, был у меня один разговор:

– Персидская ромашка! О нет, вы не шутите, это в жизни вещь великая. Не будь ее на свете – не был бы я таким, каким вы меня видите, а мой патрон не состоял бы в членах Общества драматических писателей и не получал бы тысячи авторского гонорара, а «Собачий зал»… Вы знаете, что такое «Собачий зал»?..

– Не знаю.

– А еще репортер известный, «Собачьего зала» не знаете!

Разговор этот происходил на империале вагона конки, тащившей нас из Петровского парка к Страстному монастырю. Сосед мой, в свеженькой коломянковой паре, шляпе калабрийского разбойника и шотландском шарфике, завязанном «неглиже с отвагой, а ля черт меня побери», был человек с легкой проседью на висках и с бритым актерским лицом. Когда я на станции поднялся по винтовой лестнице на империал, он назвал меня по фамилии и, подвинувшись, предложил место рядом. Он курил огромную дешевую сигару. Первые слова его были:

– Экономия: внизу в вагоне пятак, а здесь, на свежем воздухе, три копейки… И не из экономии я езжу здесь, а вот из-за нее… – И погрозил дымящейся сигарищей. – Именно эти сигары только и курю… Три рубля вагон, полтора рубля грядка, да-с, – клопосдохс, настоящий империал, потому что только на империале конки и курить можно… Не хотите ли сделаться империалистом? – предлагает мне сигару.

– Не курю, – и показал ему в доказательство табакерку, предлагая понюшку.

– Нет уж, увольте. Будет с меня домашнего чиханья.

А потом и бросил ту фразу о персидской ромашке… Швырнул в затылок стоявшего на Садовой городового окурок сигары, достал из кармана свежую, закурил и отрекомендовался:

– Я – драматург Глазов. Вас я, конечно, знаю.

– А какие ваши пьесы?

– Мои? А вот…

И он перечислил с десяток пьес, которые, судя по афишам, принадлежали перу одного известного режиссера, прославившегося обилием переделок иностранных пьес. Его я знал и считал, что он автор этих пьес.

– Послушайте, да вы перечисляете пьесы, принадлежащие… – Я назвал фамилию.

– Да, они принадлежали ему, а автор их – я. Семнадцать пьес в прошлом году ему сделал и получил за это триста тридцать четыре рубля. А он на каждой сотни наживает, да и писателем драматическим числится, хотя собаку через «ять» пишет. Прежде в парикмахерской за кулисами мастерам щипцы подавал, задаром нищих брил, постигая ремесло, а теперь вот и деньги, и почет, и талантом считают… В Обществе драматических писателей заседает… Больше ста пьес его числится по каталогу, переведенных с французского, английского, испанского, польского, венгерского, итальянского и пр. и пр. А все они переведены с «арапского»!

– Как же это случилось?

– Да так. Года два назад написал я комедию. Туда, сюда – не берут. Я – к нему в театр. Не застаю. Иду на дом. Он принимает меня в роскошном кабинете. Сидит важно, развалясь в кресле у письменного стола.

– Написал я пьесу, а без имени не берут. Не откажите поставить свое имя рядом с моим, и гонорар пополам, – предлагаю ему.

Он взял пьесу и начал читать, а мне дал сигару и газету.

– И талант у вас есть, и сцену знаете, только мне свое имя вместе с другим ставить неудобно. К нашему театру пьеса тоже не подходит.

– Жаль!

– Вам, конечно, деньги нужны? Да?

– Прямо жить нечем.

– Ну так вот, переделайте мне эту пьесу. И подал мне французскую пьесу, переведенную одним небезызвестным переводчиком, жившим в Харькове. Я посмотрел новенькую, только что процензурованную трехактную пьесу.

– Как переделать? Да ведь она переведена!

– Да очень просто: сделать нужно так, чтобы пьеса осталась та же самая, но чтобы и автор и переводчик не узнали ее. Я бы это сам сделал, да времени нет… Как эту сделаете, я сейчас же другую дам.

Я долго не понимал сначала, чего он, собственно, хочет, а он начал мне способы переделки объяснять, и так-то образно, что я сразу постиг, в чем дело.

– Ну-с, так через неделю чтобы пьеса была у меня. Неделя – это только для начала, а там надо будет пьесы в два дня перешивать.

Через неделю я принес. Похвалил, дал денег и еще пьесу. А там и пошло, и пошло: два дня – трехактный фарс и двадцать пять рублей. Пьеса его и подпись его, а работа целиком моя.

Я заинтересовался, слушал и ровно ничего не понимал.

Вагон остановился у Страстного, и, слезая с империала, Глазов предложил мне присесть на бульваре, у памятника Пушкину. Он рассказывал с увлечением. Я слушал со вниманием.

– Как же вы переделывали и что? Откуда же режиссер брал столько пьес для переделки? – спросил я.

– Да ведь он же режиссер. Ну, пришлют ему пьесу для постановки в театре, а он сейчас же за мной. Прихожу к нему тайком в кабинет. Двери позатворяет, слышу – в гостиной знакомые голоса, товарищи по сцене там, а я, как краденый. Двери кабинета на ключ. Подает

пьесу – только что с почты – и говорит:

– Сделай к пятнице. В субботу должны отослать обратно. Больше двух дней держать нельзя.

Раз в пьесе, полученной от него, письмо попалось: писал он сам автору, что пьеса поставлена быть не может по независящим обстоятельствам. Конечно, зачем чужую ставить, когда своя есть! Через два дня я эту пьесу перелицевал, через месяц играли ее, а фарс с найденным письмом отослали автору обратно в тот же день, когда я возвратил его.

Мой собеседник увлекся.

– И сколько пьес я для него переделал! И как это просто! Возьмешь, это самое, новенькую пьесу, прочитаешь и первое дело даешь ей подходящее название. Например, автор назвал пьесу «В руках», а я сейчас – «В рукавицах», или назовет автор – «Рыболов», а я – «На рыбной ловле». Переменишь название, принимаешься за действующих лиц. Даешь имена, какие только в голову взбредут, только бы на французские походили. Взбрело в голову первое попавшееся слово, и сейчас его на французское. Маленьких персонажей перешиваешь по-своему: итальянца делаешь греком, англичанина – американцем, лакея – горничной… А чтобы пьесу совсем нельзя было узнать, вставишь автомата или попугая. Попугай или автомат на сцене, а нужные слова за него говорят за кулисами. Ну-с, с действующими лицами покончишь, декорации и обстановку переиначишь. Теперь надо изменять по-своему каждую фразу и перетасовывать явления. Придумываешь эффектный конец, соль оригинала заменяешь сальцем, и пьеса готова.

Он сразу впал в минорный тон.

– Обворовываю талантливых авторов! Ведь на это я пошел, когда меня с квартиры гнали… А потом привык. Я из-за куска хлеба, а тот имя свое на пьесах выставляет, слава и богатство у него. Гонорары авторские лопатой гребет, на рысаках ездит… А я? Расходы все мои, получаю за пьесу двадцать рублей, из них пять рублей переписчикам… Опохмеляю их, оголтелых, чаем пою… Пока не опохмелишь, руки-то у них ходуном ходят…

Он много еще говорил и взял с меня слово обязательно посетить его.

– Мы только с женой вдвоем. Она – бывшая провинциальная артистка, драматическая инженю. Завтра и свободен, заказов пока нет. Итак, завтра в час дня.

– Даю слово.

На другой день я спускался в подвальный этаж домишка рядом с трактиром «Молдавия», на Живодерке, в квартиру Глазова.

В темных сенцах, куда выходили двери двух квартир, стояли три жалких человека, одетых в лохмотья; четвертый – в крахмальной рубахе и в одном жилете – из большой коробки посыпал оборванцев каким-то порошком. Пахло чем-то знакомым.

– Здравствуйте, Глазов! – крикнул я с лестницы.

– А, это вы? Владимир Алексеевич! Сейчас… Только пересыплю этих дьяволов. – И он бросал горстями порошок за ворот, за пазуху, даже за пояс брюк трем злополучникам.

Несчастные ежились, хохотали от щекотки и чихали.

– Ну, подождите, пока не повылазят. А мы пойдем. Пожалуйте!

И он отворил передо мной дверь в свою довольно чистую квартирку.

– Что за история? – спрашиваю я.

– Переписчики пришли, – серьезно ответил мне Глазов. – Сейчас заказ принесли срочный.

– Так в чем же дело?

– Персидской ромашкой я пересыпаю… А без этого их нельзя… Извините меня… Я сейчас оденусь. Он накинул пиджак.

– Эллен! Ко мне мой друг пришел… Писатель… Приготовь нам закусить… Да иди сюда.

– Mille pardon… Я не одета еще. Из спальни вышла молодая особа с папильотками в волосах и следами грима и пудры на усталом лице.

– Моя жена… Стасова-Сарайская… Инженивая драмати.

– Ах, Жорж! Не может он без глупых шуток! – улыбнулась она мне. – Простите, у нас беспорядок. Жорж возится с этой рваньＮю, с переписчиками… Сидят и чешутся… На сорок копеек в день персидской ромашки выходит… А то без нее такой зоологический сад из квартиры сделают, что сбежишь… Они из «Собачьего зала».

Глазов перебивает:

– Да. Великое дело – персидская ромашка. Сам я это изобрел. Сейчас их осыплешь – и в бороду, и в голову, и в белье, у которых есть… Потом полчасика подержишь в сенях, и все в порядке: пишут, не чешутся, и в комнате чисто…

– Так, говорите, без персидской ромашки и пьес не было бы?

– Не было бы. Ведь их в квартиру пускать нельзя без нее… А народ они грамотный и сцену знают. Некоторые – бывшие артисты… В два дня пьесу стряпаем: я – явление, другой – явление, третий – явление, и кипит дело… Эллен, ты угощай завтраком гостя, а я займусь пьесой… Уж извините меня… Завтра утром сдавать надо… Посидите с женой.

Мы вошли в комнату рядом со спальней, где на столе стояла бутылка водки, а на керосинке жарилось мясо. В декабре стояла сырая, пронизывающая погода: снег растаял, стояли лужи; по отвратительным московским мостовым проехать невозможно было ни на санях, ни на колесах.

То же самое было и на Живодерке, где помещался «Собачий зал Жана де Габриель». Населенная мастеровым людом, извозчиками, цыганами и официантами, улица эта была весьма шумной и днем и ночью. Когда уже все «заведения с напитками» закрывались и охочему человеку негде было достать живительной влаги, тогда он шел на эту самую улицу и удовлетворял свое желание в «Таверне Питера Питта».

Так называлась винная лавка Ивана Гаврилова на языке обитателей «Собачьего зала», состоявшего при «Таверне Питера Питта».

По словам самого Жана Габриеля, он торговал напитками по двум уставам: с семи утра до одиннадцати вечера – по питейному, а с одиннадцати вечера до семи утра – по похмельному.

Вечером, в одиннадцать часов, лавка запиралась, но зато отпиралась каморка в сенях, где стояли два громадных сундука – один с бутылками, другой с полубутылками. Торговала ими «бабушка» на вынос и распивочно в «Собачьем зале». На вынос торговали через форточку. Покупатель постучит с заднего двора, сунет деньги молча и молча получит бутылку. Форточка эта называлась «шланбой». Таких «шланбоев» в Москве было много: на Грачевке, на Хитровке и на окраинах. Если ночью надо достать водки, подходи прямо к городовому, спроси, где достать, и он укажет дом:

– Войдешь в ворота, там шланбой, занавеска красная. Войдешь, откроется форточка… А потом мне гривенник сунешь или дашь глотнуть из бутылки.

Возвращаясь часу во втором ночи с Малой Грузинской домой, я скользил и тыкался по рытвинам тротуаров Живодерки. Около одного из редких фонарей этой цыганской улицы меня кто-то окликнул по фамилии, и через минуту передо мной вырос весьма отрепанный, небритый человек с актерским лицом. Знакомые черты, но никак не могу припомнить.

Он назвался.

– Запутался, брат, запил. Второй год в «Собачьем зале» пребываю. Сцену бросил, переделкой пьес занимаюсь.

Я помнил его молодым человеком, талантливым начинающим актером, и больно стало при виде этого опустившегося бедняка: опух, дрожит, глаза слезятся, челюсти не слушаются.

– Водочки бы, – нерешительно обратился он ко мне.

– Да ведь поздно, а то угостил бы.

– Нет, что ты! Пойдем со мною, вот здесь рядом…

Он ухватил меня за рукав и торопливо зашагал по обледенелому тротуару. На углу переулка стоял деревянный двухэтажный дом и рядом с ним, через ворота, освещенный фонарем, старый флигель с казенной зеленой вывеской «Винная лавка».

Мы остановились у ворот.

Актер стукнул в калитку.

– Кто еще? – прохрипели со двора.

– Сезам, отворись, – ответил мой спутник.

– Кто? – громче хрипело со двора.

– Шланбой.

По этому магическому слову калитка отворилась, со двора пахнуло зловонием, и мы прошли мимо дворника в тулупе, с громадной дубиной в руках, на крыльцо флигеля и очутились в сенях.

– Держись за меня, а то загремишь, – предупредил меня спутник.

Роли переменились: теперь я держался за его руку. Он отворил дверь. Пахнуло теплом, ужасным, зловонным теплом жилой трущобы.

Картина, достойная описания: маленькая комната, грязный стол с пустыми бутылками, освещенный жестяной лампой; налево громадная русская печь (помещение строилось под кухню), а на полу вповалку спало более десяти человек обоего пола, вперемежку, так тесно, что некуда было поставить ногу, чтобы добраться до стола.

– Вот мы и дома, – сказал спутник и заорал диким голосом: – Проснитесь, мертвые, восстаньте из гробов! Мы водки принесли!..

Кучи лохмотьев зашевелились, послышались недовольные голоса, ругань.

А он продолжал:

– Мы водки принесли! И полез на печь.

– Бабка, водки!

– Ишь вас носит, дьяволы-полунощники, покоя вам нет…

– Аркашка, ты? – послышалось с печи.

– А с полу вставали, протирали глаза, бормотали:

– Где водка?..

– Дайте, черти, воды! Горло пересохло! – стонала полураздетая женщина, с растрепанными волосами, матово-бледная, с синяком на лбу.

– Аркашка, кого привел?.. Карася?

– Да еще какого, бабка… Водки!

С печи слезли грязная, морщинистая старуха и оборванный актер, усиленно старавшийся надеть пенсне с одним стеклом: другое было разбито, и он закрывал глаз, против которого не было стекла.

– Тоже артист и автор, – рекомендовал Аркашка.

Я рассматривал комнату. Над столом углем была нарисована нецензурная карикатура, изображавшая человека, который, судя по лицу, много любил и много пострадал от любви; под карикатурой подпись:

«Собачий зал Жана де Габриель».

Здесь жили драматурги и артисты, работавшие на своих безграмотных хозяев.

## «Яма»

…С Тверской мы прошли через Иверские ворота и свернули в глубокую арку старинного дома, где прежде помещалось губернское правление.

– Ну вот, здесь я и живу, зайдем.

Перешли двор, окруженный кольцом таких же старинных зданий, вошли еще в арку, в которой оказалась лестница, ведущая во второй этаж. Темный коридор, и из него в углублении дверь направо.

– Вот и пришли!

Скрипнула тяжелая дверь, и за ней открылся мрак.

– Тут немного вниз… Дайте руку…

Я спустился в эту темноту, держась за руку моего знакомого. Ничего не видя кругом, сделал несколько шагов. Щелкнул выключатель, и яркий свет электрической лампы бросил

тень на ребра сводов. Желтые полосы заиграли на переплетах книг и на картинах над письменным столом.

Я очутился в большой длинной комнате с нависшими толстенными сводами, с глубокой амбразурой маленького, темного, с решеткой окна, черное пятно которого зияло на освещенной стене. И представилось мне, что у окна, за столом сидит летописец и пишет…

Еще одно, последнее сказанье –
И летопись окончена моя… –

мелькнуло в памяти… Я стоял и молчал.

– Нет, это положительно келья Пимена! Лучшей декорации нельзя себе представить… – сказал я.

– Не знаю, была ли здесь келья Пимена, а что именно здесь, в этой комнате, была «яма», куда должников сажали, – это факт…

– Так вот она, та самая «яма», которая упоминается и у Достоевского, и у Островского.

Ужасная тюрьма для заключенных не за преступления, а просто за долги.

Здесь сидели жертвы несчастного случая, неумения вести дело торговое, иногда – разгула.

«Яма» – это венец купеческой мстительной жадности. Она существовала до революции, которая начисто смела этот пережиток жестоких времен.

По древним французским и германским законам должник должен был отрабатывать долг кредитору или подвергался аресту в оковах, пока не заплатит долга, а кредитор обязывался должника «кормить и не увечить».

На Руси в те времена полагался «правеж и выдача должника истцу головою до искупа».

Со времен Петра I для должников учредились долговые отделения, а до той поры должники сидели в тюрьмах вместе с уголовными.

Потом долговое отделение перевели в «Титы», за Москву-реку, потом в Пресненский полицейский дом, в третий этаж, но хоть и в третьем этаже было, а название все же осталось за ним «яма».

Однажды сидел там старик, бывший миллионер Плотицын. Одновременно там же содержалась какая-то купчиха, пожилая женщина, с такой скорбью в глазах, что положительно было жаль смотреть.

Помню я, что заходил туда по какому-то газетному делу. Когда я спустился обратно по лестнице, то увидел на крыльце пожилую женщину. Она вошла в контору смотрителя и вскоре вернулась.

Я заинтересовался и спросил смотрителя.

– Садиться приходила, да помещения нет, ремонтируется. У нее семеро детишек, и сидеть она будет за мужнины долги.

Оказывается, в «яме» имелось и женское отделение! В России по отношению к женщинам прекратились телесные наказания много раньше, чем по отношению к мужчинам, а от задержания за долги и женщины не избавились.

Старый солдат, много лет прослуживший при «яме», говорил мне:

– Жалости подобно! Оно хоть и по закону, да не по совести! Посадят человека в заключение, отнимут его от семьи, от детей малых, и вместо того, чтобы работать ему, да, может, работой на ноги подняться, годами держат его зря за решеткой. Сидел вот молодой человек – только что женился, а на другой день посадили. А дело-то с подвохом было: усадил его богач-кредитор только для того, чтобы жену отбить. Запутал, запутал должника, а жену при себе содержать стал…

Сидит такой у нас один, и приходит к нему жена и дети, мал мала меньше… Слез-то, слез-то сколько!.. Просят смотрителя отпустить его на праздник, в ногах валяются…

Конечно, бывали случаи, что арестованные удирали на день-два домой, но их ловили и водворяли.

Со стороны кредиторов были разные глумления над своими должниками. Вдруг кредитор перестает вносить кормовые. И тогда должника выпускают. Уйдет счастливый, радостный, поступит на место и только что начнет устраиваться, а жестокий кредитор снова вносит кормовые и получает от суда страшную бумагу, именуемую: «поимочное свидетельство».

И является поверенный кредитора с полицией к только что начинающему оживать должнику и ввергает его снова в «яму».

А то представитель конкурса, узнав об отлучке должника из долгового отделения, разыскивает его дома, врывается, иногда ночью, в семейную обстановку и на глазах жены и детей вместе с полицией сам везет его в долговое отделение. Ловили должников на улицах, в трактирах, в гостях, даже при выходе из церкви!

Но и здесь, как везде: кому счастье, кому горе. Бывали случаи, что коммерческий суд пришлет указ отпустить должника, а через месяц опять отсрочку пришлет – и живет себе человек на воле.

А другой, у которого протекции нет и взятку дать не на что, никаких указов дождаться не может – разве смотритель из человечности сжалится да к семье на денек отпустит.

Это все жертвы самодурства и «порядка вещей» канцелярского свойства, жертвы купцов-дисконтеров.

Ведь большинство попадало в «яму» из-за самодурства богатеев-кредиторов, озлобившихся на должника за то, что он не уплатил, а на себя за то, что в дураках остался и потерял деньги. Или для того, чтобы убрать с дороги мешающего конкурента.

Кредитор злобно подписывал указ и еще вносил кормовые деньги, по пять рублей восемьдесят пять копеек в месяц.

И много таких мстителей было среди богатого московского купечества, чему доказательством служило существование долгового отделения, в котором сидело почти постоянно около тридцати человек.

## Один из многих

Было шесть часов вечера. Темные снеговые тучи низко висели над Москвой, порывистый ветер, поднимая облака сухого, леденистого снега, пронизывал до кости прохожих и глухо, тоскливо завывал на телеграфных проволоках.

Около богатого дома с зеркальными окнами, на одной из больших улиц, прячась в углубление железных ворот, стоял человек высокого роста…

– Подайте Христа ради… не ел… ночевать негде! – протягивая руку к прохожим, бормотал он…

Но никто не подал ни копейки, а некоторые обругали дармоедом и кинули замечание еще, что, мол, здоровяк, а работать ленится…

Это был один из тех неудачников, которые населяют ночлежные дома Хитрова рынка и других трущоб, попадая туда по воле обстоятельств.

Крестьянин одного из беднейших уездов Вологодской губернии, он отправился на заработки в Москву, так как дома хлебушка и без его рта не хватит до нового.

В Москве долгое время добивался он какого ни на есть местишка, чтобы прохарчиться до весны, да ничего не вышло. Обошел фабрики, конторы, трактиры, просился в «кухонные мужики» – не берут, рекомендацию требуют, а в младшие дворники и того больше.

– Нешто с ветру по нонешнему времени взять можно? Вон, гляди, в газетах-то пропечатывают, что с фальшивыми паспортами беглые каторжники нарочно нанимаются, чтобы обокрасть! – сказали ему в одном из богатых купеческих домов.

– Разь я такой? Отродясь худыми делами не занимался, вот и пашпорт…

– Пашпортов-то много! Вон на Хитровом по полтине пашпорт… И твой-то, может, оттуда, вон и печать-то слепая… Ступай с богом!

Три недели искал он места, но всюду или рекомендации требовали, или места заняты

были… Ночевал в грязном, зловонном ночлежном притоне инженера-богача Ромейко, на Хитровке, платя по пятаку за ночь. Кроме черного хлеба, а иногда мятого картофеля-тушенки, он не ел ничего. Чаю и прежде не пивал, водки никогда в рот не брал. По утрам ежедневно выходил с толпой таких же бесприютных на площадь рынка и ждал, пока придут артельщики нанимать в поденщину. Но и тут за все время только один раз его взяли, во время метели, разгребать снег на рельсах конно-железной дороги. Полученная полтина была проедена в три дня. Затем опять тот же голод…

А ночлежный хозяин все требовал за квартиру, угрожая вытолкать его. Кто-то из ночлежников посоветовал ему продать довольно поношенный полушубок, единственное его достояние, уверяя, что найдется работа, будут деньги, а полушубков в Москве сколько хошь.

Он ужаснулся этой мысли…

– Как не так, продать? Свое родное и чужому продать? – рассуждал он, лежа на грязных нарах ночлежной квартиры и вспоминая все те мелкие обстоятельства, при которых сшит был полушубок… Вспомнил, как целых четыре года копил шкуры, закалывая овец, своих доморощенных, перед рождеством, и продавал мясо кабатчику; вспомнил он, как в Кубинском ему выдубили шкуры, как потом пришел бродячий портной Николка косой и целых две недели кормился у него в избе, спал на столе с своими кривыми ногами, пока полушубок не был справлен, и как потом на сходе долго бедняки-соседи завидовали, любуясь шубой, а кабатчик Федот Митрич обещал два ведра за шубу…

– Ты во што: либо денег давай, либо духа чтоб твоего не было! – прервал размышления свирепый, опухлый от пьянства мужик, съемщик квартиры.

– Повремени, а, ты! Сколочусь деньжатами, отдам! Можа, местишко бог пошлет… – молил ночлежник.

– За тобой и так шесть гривен!

– Ведь пашпорт мой у тебя в закладе.

– Пашпорт! Что в нем?! За пашпорт нашему брату достается… Сегодня или деньги, али заявлю в полицию, по этапу беспашпортного отправят… Уходи!

Несчастный скинул с плеч полушубок, бросил его на нары вверх шерстью, а сам начал перетягивать кушаком надетую под полушубком синюю крашенинную короткую поддевочку, изношенную донельзя.

Взгляд его случайно упал на мех полушубка.

– Это вот Машки-овцы шкурка… – вперяясь прослезившимися глазами в черную полу, бормотал про себя мужичок, – повадливая, рушная была… За хлебцем, бывало, к окошку прибежит… да как заблеет: бе-е… бе-е! – подражая голосу овцы, протянул он.

Громкий взрыв хохота прервал его.

Ночлежники хохотали и указывали пальцами:

– А мужик-то в козла обернулся!

– Полушубок-то блеет! – И тому подобные замечания посыпались со всех сторон. Он схватил полушубок и выбежал на площадь.

А там гомон стоял.

Под навесом среди площади, сделанным для защиты от дождя и снега, колыхался народ, ищущий поденной работы, а между ним сновали «мартышки» и «стрелки». Под последним названием известны нищие, а «мартышками» зовут барышников. Эти – грабители бедняка-хитровака, обувающие, по местному выражению, «из сапог в лапти», скупают все, что имеет какую-либо ценность, меняют лучшее платье на худшее или дают «сменку до седьмого колена», а то и прямо обирают, чуть не насильно отнимая платье у неопытного продавца.

Пятеро «мартышек» стояло у лотков с съестными припасами. К ним-то и подошел, неся в руках полушубок, мужик.

– Эй, дядя, что за шубу? Сколько дать? – засыпали его барышники.

– Восемь бы рубликов надо… – нерешительно ответил тот.

– Восемь? А ты не валяй дурака-то… Толком говори. Пятерку дам.

– Восемь!

Шуба рассматривалась, тормошилась барышниками.

Наконец, сторговались на шести рублях. Рыжий барышник, сторговавший шубу, передал ее одному из своих товарищей, а сам полез в карман, делая вид, что ищет денег.

– Шесть рублев тебе?

– Шесть…

В это время товарищ рыжего пошел с шубой прочь и затерялся в толпе. Рыжий барышник начал разговаривать с другими…

– Что же, дядя, деньги-то давай! – обратился к нему мужик.

– Какие деньги! За что? Да ты никак спятил?

– Как за што? За шубу небось!

– Нешто я у тебя брал?

– А вон тот унес.

– Тот унес, с того и спрашивай, а ты ко мне лезешь? Базар велик… Вон он идет, видишь? Беги за ним.

– Как же так?! – оторопел мужик.

– Беги, черт сиволапый, лови его, поколя не ушел, а то шуба пропадет! – посоветовал другой барышник мужику, который бросился в толпу, но «мартышки» с шубой и след простыл… Рыжий барышник с товарищами направился в трактир спрыснуть успешное дельце.

Мужицкий полушубок пропал.

* * *

Прошло две недели. Квартирный хозяин во время сна отобрал у мужика сапоги в уплату за квартиру… Остальное платье променяно на лохмотья, и деньги проедены… Работы не находилось: на рынке слишком много нанимающихся и слишком мало нанимателей. С квартиры прогнали… Наконец, он пошел просить милостыню и два битых часа тщетно простоял, коченея от холода. К воротам то и дело подъезжали экипажи, и мимо проходила публика. Но никто ничего не подал.

– Господи, куда же мне теперь?..

Он машинально побрел во двор дома. Направо от ворот стояла дворницкая сторожка, окно которой приветливо светилось. «Погреться хоть», – решил он и, подойдя к двери, рванул за скобу. Что-то треснуло, и дверь отворилась. Сторожка была пуста, на столе стояла маленькая лампочка, пущенная в полсвета. Подле лампы лежал каравай хлеба, столовый нож, пустая чашка и ложка.

Безотчетно, голодный, прошел он к столу, протянул руку за хлебом, а другою взял нож, чтоб отрезать ломоть, в эту минуту вошел дворник…

Через два дня после этого в официальной газете появилась заметка под громким заглавием: «Взлом сторожки и арест разбойника».

«13 декабря, в девятом часу вечера, дворник дома Иванова, запасный рядовой Евграфов, заметил неизвестного человека, вошедшего на двор, и стал за ним следить. Неизвестный подошел к запертой на замок двери, после чего вошел в сторожку. Дворник смело последовал за ним, и в то время, когда оборванец начал взламывать сундук, где хранились деньги и вещи Евграфова, последний бросился на него. Оборванец, видя беду неминучую, схватил со стола нож, с твердым намерением убить дворника, но был обезоружен, связан и доставлен в участок, где оказалось, что он ни постоянного места жительства, ни определенных замятий не имеет. При разбойнике нашелся паспорт, выданный из волости, по которому тот оказался крестьянином Вологодской губернии, Грязовецкого уезда, Никитой Ефремовым. Паспорт, по-видимому, фальшивый, так как печать сделана слишком дурно и неотчетливо. В грабеже, взломе и покушении на убийство дворника разбойник не сознался и был препровожден под усиленным конвоем в частный

дом, где содержится под строгим караулом в секретной камере. Разбойник гигантского роста и атлетического телосложения, физиономия зверская. Дворник Евграфов представлен к награде».

Такое известие не редкость!

Его читали и ему верили…

## Спирька

Это был двадцатилетний малый, высокого роста, без малейшего признака усов и бороды на скуластом, широком лице. Серые маленькие глаза его бегали из стороны в сторону, как у «вора на ярмарке».

В них и во всем лице было что-то напоминающее блудливого кота. Одевался Спирька во что бог пошлет. В первый раз – это было летом – я встретил его бегущего по Тверской с какими-то покупками в руке и папироской в зубах, которой он затягивался немилосердно. На нем была рваная, вылинявшая зеленая ситцевая рубаха и короткие, порыжелые, плисовые, необыкновенной ширины шаровары, достигавшие до колен; далее следовали голые ноги, а на них шлепавшие огромные резиновые калоши, связанные веревочкой. Шапки на голове у Спирьки не было. У меблированных комнат, где служил Спирька самоварщиком, его остановил швейцар:

– Спирька! Как тебе не стыдно так ходить? Ведь гостиницу срамишь!

– Что это? Чем-с?! Украл, что ли, я что? – отвечал тот, затягиваясь дымом.

– Кто говорит, украл! А ходишь-то в чем… Стыдно!

– Чего стыдно! Всяк знает, что я при месте нахожусь! Вот коли бы без места ходил этак, стыдно бы было, вот что! – И еще раз пыхнув папироской, Спирька в два прыжка очутился на верху лестницы.

Я жил в тех же нумерах.

– Что это, у нас служит? – спросил я швейцара.

– У нас, Владимир Алексеич, самоварщиком; самый что ни на есть забулдыжный человек и пьяница распрегорчайший, пропащий!

– Зачем же держать такого?

– Сами изволите знать, хозяин-то какой аспид у нас – все на выгоды норовит, а Спирька-то ему в аккурат под кадрель пришелся – задарма живет. Ну и оба рады. Хозяин – что Спирька денег не берет, а Спирька – что он при месте! А то куда его такого возьмут, оголтелого. И честный хоть он и работящий, да насчет пьянства – слаб, одежонки нет, ну и мается.

Я жил в одном номере с товарищем Григорьевым. Придя домой, я рассказал ему о Спирьке.

– Да, я его видал. Любопытный человек, он меня заинтересовал давно; способный, честный, но пьяница.

Этим разговор о Спирьке и кончился. Потом я его несколько раз встречал в коридоре и на улице.

Как-то пришлось мне уехать на несколько дней из Москвы. Когда я возвратился, мой товарищ сказал мне:

– А у нас, Володя, семейства прибавилось.

– Что такое?

– Спирьку я к себе в лакеи взял.

– Ну?! – удивился я.

– Да, верно; третьего дня его хозяин прогнал, идти человеку некуда, ну я его и взял. Славный малый, исполнительный, честный.

В это время дверь отворилась, и с покупками в руках явился Спирька. Положив покупки и сдачу с десятирублевой ассигнации, он поздоровался со мной.

– Здравствуйте, барин, – рикамендуюсь вам, что мы теперь у вас в услужении будем.

– Рад за тебя, служи.

– Нет, вы, барин, на меня поглядите-сь, каким я теперь – хоть сейчас под венец, – обратился ко мне Спирька, охорашиваясь и поправляя полы спереди узкого, короткого сюртука.

– Барин подарил-с, – сказал он.

Действительно, Спирьку нельзя было узнать. На нем была поношенная, но чистенькая триковая пара и порядочные, вычищенные до блеска сапоги. Он был умыт, причесан, и лицо его сияло.

– Эх, то есть вот как теперь меня облагодетельствовали, что всю жизнь свою не забуду, по гроб слугой буду, то есть хоть в воду головой за вас… Ведь я сроду таким господином не был. Вот родители-то полюбовались бы…

– Ну и покажись им, – сказал я.

– Это родителям-то-с? Да у меня их никогда и не бывало; я ведь из шпитонцев взят прямо.

– Как не бывало?

– Мы шпитонцы; из ошпитательного дома… бог его знает, кто у меня родитель – може, граф, може, князь, а може, и наш брат Исакий!

– Ну, последнее вернее, – сказал мой товарищ, глядя на лицо Спирьки.

Стал у нас Спирька служить. Жалованье ему положили пять рублей в месяц.

Два месяца Спирька живет – не пьет ни капли. Белье кой-какое себе завел, сундук купил, в сундук зеркальце положил, щетки сапожные… С виду приличен стал, исполнителен и предупредителен до мелочей. Утром – все убрано в комнате, булки принесены, стол накрыт, самовар готов; сапоги, вычищенные «под спиртовой лак», по его выражению, стоят у кроватей, на платье ни пылинки.

Разбудит нас, подаст умыться и во все время чаю стоит у притолоки, сияющий, веселый.

– Ну что, Спиридон, как дела? – спросишь его.

– Слава тебе господи, с бродяжного положения на барские права перешел! – ответит он, оглядывая свой костюм.

– А выпить хочется тебе?

– Нет, барин, шабаш! Было попито, больше не буду, вот тебе бог, не буду! Все эти прежние художества побоку… Зарок дал – к водке и не подходить: будет, помучился век-то свой! Будет в помойной яме курам да собакам чай собирать!

– Так не будешь?

– Вот-те крест, не буду.

Спустя около месяца после этого разговора Спирька является к моему сотоварищу и говорит ему:

– Петр Григорьич, дайте мне четыре рубля, жисть решается!

– Как так?

– Невесту на четыре рубля сосватал! С приданым, и все у нее как следно быть, в настоящем виде.

– Что ты?

– Будь сейчас четыре рубля, и жена готова!

– На что же четыре рубля?

– Свахе угощение, и ей тоже надо. Сделайте милость, будьте, барин, отец родной, составьте полное удовольствие, чтобы жениться – остепениться!

Ему дали четыре рубля. Это было в три часа дня, Спиридон разоделся в чистую сорочку, в голубой галстук, наваксил сапоги и отправился.

На другой день Спирька не являлся. Вечером, когда я вместе с Григорьевым возвратился домой после спектакля, Спирька спал на диване в своих широчайших шароварах и зеленой рубахе. Под глазом виднелся громадный фонарь, лицо было исцарапано, опухло. Следы страшной оргии были ясно видны на нем.

– Вот так женился! – сказал Григорьев, рассматривая лежавшего.

– Да, с приданым жену взял!

Спирька, услыхав разговор, поднял голову, быстро опомнился, вскочил и пошел в переднюю, не сказав ни слова.

– Спиридон! – громко окликнул его Григорьев, едва сдерживаясь от смеха.

– Чего изволите? – прохрипел тот в ответ, останавливаясь у двери и жмурясь.

– Что с тобой? А?

– Загуляли, барин! – Спирька махнул энергично правой рукой.

– А свадьба когда?

– Не будет! – пресерьезно ответил он и скрылся за дверями.

Григорьев решил его еще раз одеть и не прогонять.

– Авось исправится, человеком будет! – рассуждал он.

Однако слова его не оправдались. Запил Спирька горькую. Денег нет – ходит печальный, грустный, тоскует, – смотреть жаль. Дашь ему пятак – выпьет, повеселеет, а потом опять. Видеть водки хладнокровно не мог. Платье дашь – пропьет.

Наконец, Григорьев прогнал его. После, глубокой осенью, в дождь и холод, я опять встретил его, пьяного, в неизменных шароварах, зеленой рубахе и резиновых калошах. Он шел в кабак, пошатывался и что-то распевал веселое…

## Колесов

### I

Почтовый поезд из Рязани уже подходил к Москве. В одном из вагонов третьего класса сидел молодой человек, немного выше среднего роста, одетый в теплое пальто с бобровым воротником. Рядом с ним лежал небольшой чемоданчик и одеяло. Этот пассажир был Александр Иванович Колесов, служивший в одной из купеческих контор на юге чем-то вроде бухгалтера. Контора разорилась, и Колесов, оставшийся без места, отправился в Москву искать счастия. Деньги, заслуженные им в продолжение пятилетней службы, так и пропали. Продав кой-что лишнее из носильного платья, он отправился. Родственников у него нигде не было. Отец и мать, бедные воронежские мещане, давно умерли, а более никого не было нигде.

Какие мысли роились в голове его!.. Какие планы строил он!..

«Вот, – думал Колесов, – приеду в Москву. Устроюсь где-нибудь в конторе, рублей на пятьдесят в месяц. Года два прослужу, дадут больше… Там, бог даст, найду себе по сердцу какую-нибудь небогатую девушку, женюсь на ней, и заживем… И чего не жить! Человек я смирный, работящий, вина в рот не беру… Только бы найти место, и я счастлив… А Москва велика, люди нужны… Я человек знающий, рекомендация от хозяина есть, значит, и думать нечего».

Раздался последний свисток, пассажиры зашевелились, начали собирать вещи, и через минуту поезд уже остановился. Колесов вышел из вагона на платформу. Его тотчас окружили «вызывалы» из мелких гостиниц и дурных номеров, насильно таща каждый к себе. Один прямо вырвал из рук Колесова его чемодан.

– Пожалуйте-с к нам остановиться, сударь, номера почти рядом, дешевые-с, от полтинника-с! Пожалуйте-с за мною…

– Пожалуй, пойдем, если только номера приличные; где ни остановиться, мне все равно.

– Приличные-с, будьте благонадежны, можно сказать, роскошные номера за эту цену, пожалуйте! И близко-с, даже извозчик не требуется.

Через несколько минут чичероне заявил, указывая на меблированные комнаты:

– Здесь!

– А улица какая?

– Самая спокойная в Москве-с, Дьяковка прозывается.

В полтинник номеров не оказалось, пришлось занять в рубль.

– Самоварчик-с? – предложил юркий, с плутовскими глазами коридорный.

Колесов приказал самовар.

– Документик теперь прикажете получить?

Документ был отдан.

– Из провинции изволили прибыть в белокаменную?

– Да, из Воронежа.

– По коммерции-с?

– Нет, места искать!

И Колесов рассказал коридорному причину, заставившую его прибыть в Москву.

– Те-кс! – протянул служитель и, вынув из кармана серебряные часы, посмотрел на них, потом послушал.

– Остановились! А на ваших сколько-с?

Колесов вынул золотые недорогие часы.

– Ровно десять.

– Так-с! А что намерены делать сегодня?

– Отдохну с полчасика, а потом куда-нибудь пройдусь, Москвой полюбуюсь.

– Доброе дело-с!

Коридорный скрылся, а Колесов, напившись чаю, оделся, запер дверь, ключ от номера взял с собой и пошел по Москве. Побывал в Кремле, проехался по интересовавшей его конке и, не зная Москвы, пообедал в каком-то скверном трактире на Сретенке, где содрали с него втридорога, а затем пешком отправился домой, спрашивая каждого дворника, как пройти на Дьяковку.

* * *

Трактир низшего разбора был переполнен посетителями. В отдельной комнатке, за стенкой которой гремел, свистя и пыхтя, как паровик, расстроенный оркестрион, сидели за столом две женщины; одной, по-видимому еврейке, на вид было лет за пятьдесят. Другая была еще молоденькая девушка, строгая блондинка, с роскошной косой и с карими, глубокими глазами – Гретхен, да и только. Но если попристальнее вглядеться в эту Гретхен, что-то недоброе просвечивало в ее глазах, и ее роскошная белизна лица с легким румянцем оказывалась искусственно наведенной. Обе были одеты безукоризненно. На руках молодой сверкали браслеты и кольца. На столе перед ними стояла полбутылка коньяку и сахар с лимоном.

– Да! Сенька все дело испортил своим дурацким кашлем! – говорила блондинка.

– Испортил? Как же?

– Да так: сидели мы во втором классе. Подходящего сюжету не было. Вдруг в Клину ввалился толстый-претолстый купчина, порядком выпивши. Сенька сел с ним рядом, тут я подошла. Толстяк был пьян и, как только сел, начал храпеть, отвалившись на стенку дивана. Сенька мне мигнул, мы поменялись местами, я села рядом с купчиной, а Сенька, чтоб скрыть работу от публики, заслонил купца и полез будто бы за вещами на полочку, а я тем временем в *ширмоху за лопатошником* … В эту самую минуту Сенька и закашлялся. *Мощи* проснулись, и не выгорело! Из-за дурацкого кашля напрасно вся работа пропала.

– Стоит с Сенькой ездить! То ли дело Лейба!

– Лейба? Толст очень, ожирел, да и работой нечист! На выставке и то попался из-за красненькой!

Блондинка замолчала, налила по рюмке коньяку, выпила и заговорила:

– Выручи, Марья Дмитриевна, сделай милость, дай рубликов пятьдесят, работы никакой, ехать в дорогу не с кем, с Сенькой поругалась, поляк сгорел. Милька…

– Здесь работай!

– Работы никакой. Сашка номерной давеча мигал что-то из двери, когда мы ехали, – да напрасно, кажись!

– Не напрасно-с, Александра Кирилловна, дело есть!

– Сашка, легок на помине! – воскликнули обе.

– Как черт на овине, – раскланиваясь, проговорил знакомый уже нам коридорный, прислуживавший Колесову.

– У вас? – заговорила блондинка.

– У нас! Попотчуйте коньячком-то!

– Пей! – Еврейка налила ему рюмку, которую он и проглотил.

– Богатый?

– На катеньку есть.

– Мелочь! А впрочем, на голодный зуб и то годится.

– Так идет? – спросила еврейка.

– Так точно-с! – ответил Сашка. – Четвертную им, четвертную мне, четвертную хозяину и четвертную за хлопоты…

– За какие хлопоты? – полюбопытствовала еврейка.

– А когда за работу? – спросила Сашку блондинка, не отвечая на вопрос соседки.

– Сегодня, сиди здесь пока, а потом я забегу и скажу, что делать. Затем прощайте, скоро буду!

Сашка пожал руки обеим женщинам и ушел.

Колесов явился домой через полчаса после того, как коридорный Сашка возвратился из трактира. Он потребовал самовар, а за чаем Сашка предложил ему познакомиться с некоторой молодой особой, крайне интересной, на что тот согласился, и через самое короткое время известная читателю блондинка уже была в гостях у Колесова, которого она успела положительно очаровать. К двенадцати часам ночи Колесов, одурманенный пивом, настоянным на окурках сигар, так часто употребляемым в разных трущобах для приведения в бесчувствие жертв, лежал на кровати одетый, погрузясь в глубокий искусственный сон, навеянный дурманом…

– Барин, а барин! Вставать пора! Барин! Двенадцатый час!.. – кричал поутру коридорный, стуча в дверь номера, где спал Колесов. Но тот не откликался.

Колесов проснулся поздно.

* * *

«Посмотрим, который теперь час!» – подумал Колесов, ища в кармане жилета часы и не находя их…

«Не украла ли их вчерашняя гостья?» – мелькнуло у него в уме. Он инстинктивно схватился за бумажник, раскрыл его: денег не было ни копейки.

– Коридорный, коридорный! – закричал он, отворяя дверь.

– Самоварчик? Сию минуту, подаю-с! – ответил Сашка, являясь в номер Колесова.

– Обокрали! Слышишь! Обокрали меня! Деньги, часы… Что мне делать? Ведь это мое последнее достояние! – со слезами на глазах умолял Колесов.

– Кого обокрали, помилуйте?

– Меня, меня! бумажник, часы…

– Где-с?

– Здесь, ночью…

– Это гостья ваша, наверно. Никто и не видал, когда она ушла…

– Кто же она, пошлите за полицией, задержать ее! Ведь ты рекомендовал! – метался Колесов.

– Меня и не изволите мешать! Рекомендовал! Приведете там, да на служащих валить! Ишь ты, за полицией… Вы и номеров не извольте срамить!.. А лучше убирайтесь отсюда

подобру-поздорову, пока целы, – дерзко ответил коридорный и хлопнул дверью…

## II

В знакомом же нам трактире, только в черной половине его, сидел небритый, грязный субъект. Было семь часов вечера.

В это время в трактир вошел Колесов, с чемоданом в руке, и поместился за одним из соседних столиков.

«Ага, приезжий! Попросить разве на ночлег», – мелькнуло в голове субъекта. Он подошел к столу, который занял Колесов.

– Позвольте к вам на минутку присесть! – обратился он к Колесову.

– О, с удовольствием, рад буду! – ответил последний.

Подали чай, за которым Колесов рассказал субъекту свое горе, как его обокрали и как, наконец, попросили удалиться из номеров.

– Денег ни гроша, квартиры нет, – жаловался Колесов.

– Устроим, не беспокойтесь! Только деньжонок рубля три надо!

– Нет у меня. Чемодан бы заложить, да вещишки кой-какие там. Кольцо было материно, рублей сорок стоило, и то украли.

Через несколько времени стараниями субъекта чемодан был заложен за три рубля, и Колесов уже сидел в одном из трактиров на Грачевке, куда завел его субъект, показывавший различные московские трущобы.

– Ну что же, ведите меня спать! – упрашивал его Колесов.

– Спать? Какой там сон, пойдем еще погуляем. Водочки выпьем, закусим.

– Я не пью ничего, кроме пива, – да и пиво у вас какое-то гадкое.

– Спросим настоящего. Хочешь, с приятелями познакомлю, вон видишь, в углу за бутылкой сидят!

Колесов посмотрел, куда указывал ему его товарищ.

В углу, за столом, сидели три человека, одетые – двое в пальто, сильно поношенные, а третий в серую поддевку. Один, одетый в коричневое пальто, был гигантского роста. Он пил водку чайным стаканом и говорил что-то своим собеседникам.

– Кто это такие?

– Славные люди, промышленники. Посиди, а я к ним схожу, надо повидаться! – шепнул субъект и быстро подошел к столу, за которым сидели трое. С каждым из них он поздоровался за руку, как старый приятель, и начал что-то говорить им, наклонившись к столу, так тихо, что слова лишь изредка долетали до Колесова. Громче всех говорил гигант. Можно было расслышать у него: «еще не обсосан», «шкура теплая» и «шланбой». Во время разговора трое посмотрели на Колесова, но поодиночке каждый, будто не нарочно. Колесов сам не обращал внимания на них; он сидел, облокотившись одной рукой на стол, и безотчетно смотрел в пространство. Глаза его были полны слез. Он ничего не слышал, ничего не видел вокруг себя.

– Не вешай голову, не печаль хозяина! – вдруг раздался над ухом у него громовой бас, и чья-то тяжелая, как свинец, рука опустилась на него. Колесов встрепенулся. Подле него стоял гигант и смотрел ему в глаза.

– Что вам угодно? Я не знаю вас! – проговорил испуганный Колесов.

– А мы вас знаем; слышали о том, как вас обработали, и горю вашему помочь возьмемся.

– Горю помочь? Да неужели? Деньги отдадите, часы?

– Часы и деньги – все достанем, только за труды красненький билет будет да на расход красненький, и все возвратим.

– Как же это?

– Да так: знаем, кто у вас украл, слышали и предоставим.

– Голубчик! как вас и благодарить!

– Не меня, вашего приятеля благодарите, – проговорил гигант, указывая на субъекта, распивавшего водку за другим столом.

– А вы сами кто?

– Приказчик; а девчонка, которая была у вас вчера, живет со мной в одном доме, так я подслушал разговор. Ну, так идет?

– Век буду благодарен! Только выручите!

– Выручим, ну, пойдем сейчас, золотое время терять нечего.

Гигант кивнул своей компании. Колесов расплатился, и все гурьбой вышли из трактира.

Погода была мерзкая. Сырой снег, разносимый холодным резким ветром, слепил глаза. Фонарики издавали бледно-желтый свет, который еле освещал на небольшое пространство сырую туманную мглу.

– Ну-с, господин почтенный, выручить мы вас выручим, и ваша пропажа найдется, и не дальше как сегодня же, только для этого нужно первым делом десять рублей денег, – обратился гигант к Колесову, когда они вышли на улицу.

– Денег у меня только полтора рубля! – ответил тот.

– Нужно десять, и ни гроша менее. Да не беспокойтесь, мы вас не обманем, ваших денег в руки не возьмем, сами расплачиваться будете.

– Нету у меня.

– А без денег ничего не поделаешь, и, значит, не видать вам пропажи, как ушей своих.

– Да ведь денег-то нет! Где же взять? Я бы рад.

– А вот что, заложим до утра ваше пальто, а деньги достанем, завтра и выкупим, – предложили ему.

– Умно изволите говорить, только до утра, а завтра выкупим! – подтвердил гигант, шагая по Грачевке.

– Помилуйте… Как это пальто?! А я в чем же останусь?

– Только до утра как-нибудь перебьетесь, ночуем у меня, живу близко. Да не подумайте чего-нибудь дурного: ведь мы только выручить вас хотим, благо счастливый случай представился, мы люди порядочные, известные. Я приказчик купца Полякова, вот этот – мой товарищ, а они, – говорил гигант, показывая на поддевку, – на железной дороге в артельщиках состоят.

– Да, я артельщик, артельщик на Николаевской дороге, из Кунцева, – подтвердила поддевка.

– Господа, я согласен, я верю вам; где же заложить?

– Найдем такое место, пойдем.

– К Воробью пойдемте! – предложила поддевка.

– Вот сюда! – сказал гигант и указал на высокий дом.

Вошли все в ворота, кроме субъекта, который остался на улице.

– Ну-с, господа, вы погодите тут, а мы наверх пойдем, – сказал гигант, взяв за руку Колесова.

– Держитесь за меня, а то темно.

Начали подниматься по склизкой лестнице, вошли на площадку, темную совершенно.

– Снимайте пальто и дайте мне, а то двоим входить неловко, а я тем временем постучу.

Колесов повиновался как-то безотчетно, и через минуту пальто уже было у гиганта. Тот продолжал потихоньку стучаться, все далее и далее отодвигаясь от Колесова. Наконец, стук прекратился, раздался скрип половиц.

– Господин, где вы! – шепнул Колесов.

Ответа не было. Он сказал громче, еще громче. Ничего! Наконец, отыскал в кармане жилета спичечницу, зажег огня.

– Что ты тут делаешь, а? Поджигать или воровать пришел? – раздался громовый голос сзади, затем Колесов почувствовал удар, толчок и полетел с лестницы, сброшенный сильной рукой.

Очнулся он на дворе, в луже, чувствуя боль во всем теле. Что с ним случилось? Что

было? Он не мог отдать себе отчета. Лихорадочная дрожь, боль во всем теле, страшный холод; он понемногу начинал приходить в чувство, соображать, но ум отказывался ему повиноваться. Наконец, спустя несколько минут он начал приходить в себя.

Весь мокрый, встал он на ноги и вышел на улицу. Темно было. Фонари были загашены, улицы совершенно опустели. Не отдавая себе хорошенько отчета, Колесов пустился идти скорым шагом. Прошел одну улицу, другую… Прохожие и дворники смотрели с удивлением и сторонились от него, мокрого, грязного… Он шел быстро, а куда – сам не знал… Колесил без разбору по Москве… Наконец, дошел до какой-то церкви, где служили заутреню… Он машинально вошел туда и, встав в самый темный угол церкви, упал на колени и зарыдал.

– Господи!.. Господи!.. Погиб я, погиб… – молился он вслух, заливаясь слезами.

Церковь была почти пуста. Священник, молодой человек, монотонно, нехотя исполнял службу. Дьячок козлиным голосом вторил ему. С десяток старух и нищих как-то по привычке молились. Никто не обращал внимания на рыдающего Колесова.

Прошедший мимо него солдат-сторож только пробормотал про себя: «Ишь, проклятые, греться сюда повадились, оборванцы, пьянчуги».

Долго и усердно молился Колесов, наконец немного успокоился. Кончилась заутреня, он вместе со всеми вышел. Начало светать. На паперти встретился ему старый нищий в рубище.

– Что это, почтенный, ты будто сам не свой, али обидели тебя? – обратился он к Колесову.

– Обидели, дедушка… вот как обидели!.. – ответил ему Колесов.

Они вышли оба вместе с паперти и пошли по улице. Дорогой он выплакал свое горе старику. Тот с участием выслушал его и сказал:

– Не помочь твоему горю. Пропал значит, мошенники тебя обработали начисто. Не один ты погиб так, а многие.

– Что же теперь делать, дедушка?

– И сам не знаю что! А вот пойдем-ка в трактир, я тебя чайком напою, а там и подумаем.

Нищий привел его в свою квартиру, в дом Бунина, на Хитров рынок, и заботливые соседи успели вдосталь обобрать Колесова и сделать из него одного из тех многочисленных оборванцев, которыми наполнены трущобы Хитрова рынка и других ночлежных домов, разбросанных по Москве. И сидит теперь Колесов день-деньской где-нибудь в кабаке, голодный, дожидаясь, что какой-нибудь загулявший бродяга поднесет ему стаканчик водки. Пьется этот стакан водки лишь для того, чтобы после него иметь возможность съесть кусок закуски и хоть этим утолить томящий голод. Вечером, когда стемнеет, выходит он выпросить у кого-нибудь из прохожих пятак на ночлег и отправляется на «квартиру».

И потекли для Колесова тяжелые дни… Что-то с ним будет?!

## В глухую

«При очистке Неглинного канала находили кости, похожие на человеческие».

Газетная заметка.

Полночь – ужасный час.

В это время все любящие теплый свет яркого солнца мирно спят.

Поклонники ночи и обитатели глухих дебрей проснулись.

Последние живут на счет первых.

Из мокрой слизистой норы выползла противная, бородавчатая, цвета мрака, жаба… Заныряла в воздухе летучая мышь, заухал на весь лес филин, только что сожравший маленькую птичку, дремавшую около гнезда в ожидании рассвета; филину вторит сова, рыдающая больным ребенком. Тихо и жалобно завыл голодный волк, ему откликнулись его товарищи, и начался дикий, лесной концерт – ария полунощников.

Страшное время – полночь в дебрях леса.

Несравненно ужаснее и отвратительнее полночь в трущобах большого города, в трущобах блестящей, многолюдной столицы. И чем богаче, обширнее столица, тем ужаснее трущобы…

И здесь, как в дебрях леса, есть свои хищники, свои совы, свои волки, свои филины и летучие мыши…

И здесь они, как их лесные собратья, подстерегают добычу и подло, потихоньку, наверняка пользуются ночным мраком и беззащитностью жертв.

Все обитатели трущобы могли бы быть честными, хорошими людьми, если бы сотни обстоятельств, начиная с неумелого воспитания и кончая случайностями и некоторыми условиями общественной жизни, не вогнали их в трущобу.

Часто одни и те же причины ведут к трущобной жизни и к самоубийству. Человек загоняется в трущобы, потому что он не уживается с условиями жизни. Прелести трущобы, завлекающие широкую необузданную натуру, – это воля, независимость, равноправность. Там – то преступление, то нужда и голод связывают между собой сильного со слабым и взаимно уравнивают их. А все-таки трущоба – место не излюбленное, но неизбежное.

Притон трущобного люда, потерявшего обличье человеческое, – в заброшенных подвалах, в развалинах, подземельях.

Здесь крайняя степень падения, падения безвозвратного.

Люди эти, как и лесные хищники, боятся света, не показываются днем, а выползают ночью из нор своих. Полночь – их время. В полночь они заботятся о будущей мочи, в полночь они устраивают свои ужасные оргии и топят в них воспоминания о своей прежней, лучшей жизни.

* * *

Одна такая оргия была в самом разгаре.

Из-под сводов глубокого подвала доносились на свежий воздух неясные звуки дикого концерта.

Окна, поднявшиеся на сажень от земляного пола, были завешаны мокрыми, полинявшими тряпками, прилипшими к глубокой амбразуре сырой стены. Свет от окон почти не проникал на глухую улицу, куда заносило по ночам только загулявших мастеровых, пропивающих последнее платье…

Это одна из тех трущоб, которые открываются на имя женщин, переставших быть женщинами, и служат лишь притонами для воров, которым не позволили бы иметь свою квартиру. Сюда заманиваются под разными предлогами пьяные и обираются дочиста.

Около входа в подвал стояла в тени темная фигура и зазывала прохожих.

В эту ночь по трущобам глухой Безыменки ходил весь вечер щегольски одетый искатель приключений, всюду пил пиво, беседовал с обитателями и, выходя на улицу, что-то заносил в книжку при свете, падавшем из окон, или около фонарей.

Он уже обошел все трущобы и остановился около входа в подземелье. Его окликнул хриплый голос на чистом французском языке:

– Monsieur, venez chez nous pour un moment.

– Что такое? – удивился прохожий.

– Зайдите, monsieur, к нам, у нас весело.

– Зачем я зайду?

– Теперь, monsieur, трактиры заперты, а у нас пиво и водка есть, у нас интересно для вас, зайдите!

От стены отделилась высокая фигура и за рукав потащила его вниз.

Тот не сопротивлялся и шел, опустив руку в карман короткого пальто и крепко стиснув стальной, с острыми шипами, кастет.

– Entrez! – раздалось у него над самым ухом.

Дверь отворилась. Перед вошедшим блеснул красноватый свет густого пара, и его

оглушил хаос звуков. Еще шаг, и глазам гостя представилась яркая картина истинной трущобы. В громадном подвале, с мокрыми, почерневшими, саженными сводами стояли три стола, окруженные неясными силуэтами. На стене, близ входа, на жестяной полочке дымился ночник, над которым черным столбиком тянулся дым, и столбик этот, воронкой расходясь под сводом, сливался незаметно с черным закоптевшим потолком. На двух столах стояли лампочки, водочная посуда, остатки закусок. На одном из них шла ожесточенная игра в банк. Метал плотный русак, с окладистой, степенной рыжей бородой, в поддевке. Засученные рукава открывали громадные кулаки, в которых почти скрывалась засаленная колода. Кругом стояли оборванные, бледные, с пылающими взорами понтеры.

– Транспа-арт с кушем! – слышалось между играющими.

– Семитка око…

– Имею… На-пере-пе…

– Угол от гривны!

За столом, где не было лампы, а стояла пустая бутылка и валялась обсосанная голова селедки, сидел небритый субъект в форменной фуражке, обнявшись с пьяной бабой, которая выводила фальцетом:

И чай пи-ла, я, бб-буллки-и ела,
Паз-за-была и с кем си-идела.

За столом средним шел оживленный спор. Мальчик лет тринадцати, в лаковых сапогах и «спинчжаке», в новом картузе на затылке, колотил дном водочного стакана по столу и доказывал что-то оборванному еврею:

– Слушай, а ты…

– И што слушай? Что слушай? Работали вместе, и халтура пополам.

– Оно и пополам; ты затыривал – я по ширмохе, тебе двадцать плиток, а мне соловей.

– Соловей-то полста ходить небось.

– Провалиться, за четвертную ушел…

– Заливаешь!

– Пра слово… Чтоб сгореть!

– Где ж они?

– Прожил; коньки вот купил, чепчик. Ни финажки в кармане… Глянь-ка, Оська, какой стрюк заполз!

Оська оглянулся на вошедшего.

– Не лягаш ли?

– Не-е… просто стрюк шатаный. Да вот узнаем… Па-алковница, что кредитного, что ли, привела?

Стоявшая рядом с вошедшим женщина обернула к говорившему свое густо наштукатуренное лицо, подмигнула большими, черными, ввалившимися глазами и крикнула:

– Барин пива хочет! Monsieur, садитесь!

Тот, не вынимая правой руки и не снимая низкой, студенческой шляпы, подошел к столу и сел рядом с Иоськой.

Игравшие в карты на минуту остановились, осмотрели молча – с ног до головы – вошедшего и снова стали продолжать игру.

– Что ж, барин, ставь пива, угости полковницу, – заговорил мальчишка.

– А почем пиво?

– Да уж расшибись на рупь-целковый, всех угощай… Вон и барон опохмелиться хочет, – указал Иоська на субъекта в форменной фуражке.

Тот вскочил, лихо подлетел к гостю, сделал под козырек и скороговоркой выпалил:

– Барон Дорфгаузен, Оттон Карлович… Прошу любить и жаловать, рад познакомиться!..

– Вы барон?

– Ma parole… Барон и коллежский регистратор… В Лифляндии родился, за границей обучался, в Москве с кругу спился и вдребезги проигрался…

– Проигрались?

– Вчистую! От жилетки рукава проиграл! – сострил Иоська.

Барон окинул его презрительным взглядом.

– Ma parole! Вот этому рыжему последнее пальто спустил… Одолжите, mon cher, двугривенный на реванш… Ma parole, до первой встречи…

– Извольте…

Барон схватил двугривенный, и через минуту уже слышался около банкомета его звучный голос:

– Куш под картой… Имею-с… Имею… Полкуша напе, очки вперед…

– Верно, сударь, настоящий барон… А теперь свидетельства на бедность – викторки строчит… Как печати делает! – пояснял Иоська гостю… – И такцыя недорога. Сичас, ежели плакат – полтора рубля, вечность – три.

– Вечность?

– Да, дворянский паспорт или указ об отставке… С орденами – четыре… У него на все такцыя…

– Удивительно… Барон… Полковница…

– И настоящая полковница… В паспорте так. Да вот она сама расскажет…

И полковница начала рассказывать, как ее выдали прямо с институтской скамьи за какого-то гарнизонного полковника, как она убежала за границу с молодым помещиком, как тот ее бросил, как она запила с горя и, спускаясь все ниже и ниже, дошла до трущобы…

– И что же, ведь здесь очень гадко? – спросил участливо гость.

– Гадко!.. Здесь я вольная, здесь я сама себе хозяйка… Никто меня не смеет стеснять… да-с!

– Ну, ты, будет растабарывать, неси пива! – крикнул на нее Иоська.

– Несу, оголтелый, что орешь! – И полковница исчезла.

– Malheur! Не везет… А? Каково… Нет, вы послушайте. Ставлю на шестерку куш – дана. На-пе – имею. Полкуша на-пе, очки вперед – пятерку – взял… Отгибаюсь – уменьшаю куш – бита. Иду тем же кушем, бита. Ставлю насмарку – бита… Три – и подряд! Вот не везет!..

– Проиграли, значит?

– Вдребезги… Только бы последнюю дали – и я Крез. Талию изучил, и вдруг бита… Одолжите… до первой встречи еще тот же куш…

– С удовольствием, желаю отыграться.

– All right! Это по-барски… Mille mersi. До первой встречи.

А полковница налила три стакана пива и один, фарфоровый, поднесла гостю.

– Votre sant, monsieur!

Другой стакан взял барон, оторвавшийся на минуту от карт, и, подняв его над головой, молодецки провозгласил:

– За здоровье всех присутствующих… Уррра!..

Разбуженная баба за пустым столом широко раскрыла глаза, прислонилась к стене и затянула:

И чай пила я с сухарями,
Воротилась с фонарями…

Полковница вновь налила стакан из свежей бутылки.

Около банкомета завязался спор.

– Нет, вы па-азвольте… сочтите абцуги… девятка налево, – горячился барон.

– Ну, ну, не шабарши с гривенником… говорят, бита…

– Сочтите абцуги… Вот видите, налево… Гривенник имею… Иду углом… Сколько в

банке?

– В банке? Два рубли еще в банке… Рви… Бита… Гони сюда.

А с гостем случилось нечто. Он все смотрел на игру, а потом опустил голову, пробормотал несколько несвязных слов и грохнулся со стула.

– Семка, будет канителиться-то, готов! – крикнул банкомету мальчишка.

– Вижу!..

Банкомет сгреб деньги в широкий карман поддевки и, заявив, что банк закрыт, порастолкал игроков и подошел к лежавшему.

Полковница светила.

Мальчишка и банкомет в один момент обшарили карманы, и на столе появилась записная книжка с пачкой кредиток, часы, кошелек с мелочью и кастет.

– Эге, барин-то с припасом, – указал Иоська на кастет.

Барон взял книжку и начал ее рассматривать.

– Ну что там написано? – спросил банкомет.

– Фамилии какие-то… Счет в редакцию «Современных известий»… постой и… Вот насчет какой-то трущобы… Так, чушь!..

– Снимайте с него коньки-то!

– Да оставьте, господа, простудится человек, будет, нажили ведь! – вдруг заговорила полковница.

– Черт с ним, еще из пустяков сгоришь… Бери на вынос! – скомандовал банкомет.

Иоська взял лежавшего за голову и вдруг в испуге отскочил. Потом он быстро подошел и пощупал его за руку, за шею и за лоб.

– А ведь не ладно… Кажись, вглухую!

– Полно врать-то!

– Верно, Сема, гляди.

Банкомет засучил рукав и потрогал гостя…

– И вправду… Вот беда!

– Неловко…

– Ты что ему, целый порошок всыпала? – спросил русак полковницу.

– Не нашла порошков. Я в стакан от коробки из розовой отсыпала половину…

– Половину… Эх, проклятая! Да ведь с этого слон сдохнет!.. Убью!

Он замахнулся кулаком на отскочившую полковницу.

Ул-лажила яво спать
На тесовую кровать! –

еле слышно, уткнувшись носом в стол, тянула баба.

К банкомету подошел мальчик и что-то прошептал ему на ухо.

– Дело… беги! – ответил тот. – Иоська, берись-ка за голову, вынесем на улицу, отлежится к утру! – проговорил Семка и поднял лежавшего за ноги. Они оба понесли его на улицу.

– Не сметь никто выходить до меня! – скомандовал банкомет.

Все притихли.

На улице лил ливмя дождь. Семка и Иоська ухватили гостя под руки и потащили его к Цветному бульвару. Никому не было до этого дела.

А там, около черного отверстия, куда водопадом стремилась уличная вода, стоял мальчишка-карманник и поддерживал железную решетку, закрывающую отверстие.

На край отверстия поставили принесенного и опустили его. Раздался плеск, затем громыхнула железная решетка, и все стихло.

– И концы в воду! – заметил Иоська.

– Сгниет – не найдут, илом занесет али в реку унесет, – добавил карманник.

## «Каторга»

Не всякий поверит, что в центре столицы, рядом с блестящей роскошью миллионных домов, есть такие трущобы, от одного воздуха и обстановки которых люди, посещавшие их, падали в обморок.

Одну из подобных трущоб Москвы я часто посещал в продолжение последних шести лет.

Это – трактир на Хитровом рынке, известный под названием «Каторга».

Трущобный люд, населяющий Хитров рынок, метко окрестил трактиры на рынке. Один из них назван «Пересыльный», как намек на пересыльную тюрьму, другой «Сибирь», третий «Каторга». «Пересыльный» почище, и публика в нем поприличнее, «Сибирь» грязнее и посещается нищими и мелкими воришками, а «Каторга» нечто еще более ужасное.

Самый Хитров рынок с его ночлежными домами служит притоном всевозможных воров, зачастую бежавших из Сибири.

Полицейские протоколы за много лет могут подтвердить, что большинство беглых из Сибири в Москве арестовываются именно на Хитровом рынке.

Арестант бежит из Сибири с одной целью – чтобы увидеть родину. Но родины у него нет. Он отверженец общества. Все отступились от него, кроме таких же, как он, обитателей трущоб, которые посмотрят на него, «варнака Сибирского, генерала Забугрянского», как на героя.

Они, отверженцы, – его родные, Хитров рынок для него родина.

При прощаньях арестантов в пересыльной тюрьме, отправляющихся в Сибирь в каторжные работы без срока, оставшиеся здесь говорят:

– Прощай, бог даст увидимся в «Каторге».

– Постараемся! – отвечают сибиряки, и перед глазами их рисуется Хитров рынок и трактир «Каторга».

И в Сибири при встрече с беглыми арестанты-москвичи повторяют то же заветное слово…

Был сырой, осенний вечер, когда я в последний раз отворил низкую грязную дверь «Каторги»; мне навстречу пахнул столб белого пара, смеси махорки, сивухи и прелой тряпки.

Гомон стоял невообразимый. Неясные фигуры, брань, лихие песни, звуки гармоники и кларнета, бурленье пьяных, стук стеклянной посуды, крики о помощи… Все это смешивалось в общий хаос, каждый звук раздавался сам по себе, и ни на одном из них нельзя было остановить своего внимания…

С чем бы сравнить эту картину?!

Нет! Видимое мной не похоже на жилище людей, шумно празднующих какое-нибудь торжество… Нет, это не то… Не похоже оно и на берлогу диких зверей, отчаянно дерущихся между собой за кровавую добычу… Опять не то…

Может быть, читатели, вы слыхали от старых нянек сказку о Лысой горе, куда слетаются ведьмы, оборотни, нетопыри, совы, упыри, черти всех возрастов и состояний справлять адский карнавал? Что-то напоминающее этот сказочный карнавал я и увидел здесь.

На полу лежал босой старик с раскровавленным лицом. Он лежал на спине и судорожно подергивался… Изо рта шла кровавая пена…

А как раз над его головой, откинувшись на спинку самодельного стула, под звуки кларнета и гармоники отставной солдат в опорках ревет дикую песню:

Ка-да я был слабодна-ай мальчик…

Половой с бутылкой водки и двумя стаканами перешагнул через лежавшего и побежал дальше…

Я прошел в середину залы и сел у единственного пустого столика.

Все те же типы, те же лица, что и прежде…

Те же бутылки водки с единственной закуской – огурцом и черным хлебом, те же лица, пьяные, зверские, забитые, молодые и старые, те же хриплые голоса, тот же визг избиваемых баб (по-здешнему «теток»), сидящих частью в одиночку, частью гурьбой в заднем углу «залы», с своими «котами».

Эти «бабы» – завсегдатаи, единственные посетители трактира, платящие за право входа буфетчику.

Судьба их всех одинакова, и будущее каждой из них не разнится: или смерть в больнице и под забором, или при счастливом исходе – торговля гнилыми яблоками и селедками здесь же на рынке… Прошлое почти одинаковое: пришла на Хитров рынок наниматься; у нее нарочно, чтобы закабалить ее, «кот» украл паспорт, затем, разыгрывая из себя благодетеля, выручил ее, водворив на ночлег в ночлежный дом – место, где можно переночевать, не имея паспорта. (Это, конечно, не устраивается без предварительного соглашения с хозяином ночлежного дома.) «Кот», наконец, сделался ее любовником и пустил в «оборот», то есть ввел в «Каторгу» и начал продавать ее пьяным посетителям… Прошло три – шесть месяцев, и свеженькая, совсем юная девушка превратилась в потерявшую облик человеческий «каторжную тетку».

Лет пять тому назад я встретился в «Каторге» с настоящей княжной, известной Москве по скандальному процессу и умершей в 1885 году в больнице… Покойная некоторое время была завсегдатаем «Каторги»…

«Коты» здесь составляют, если можно так выразиться, отдельную касту, пользуются благоволением половых и буфетчиков, живут на вырученные их любовницами деньги и кражей кошельков и платья у пьяных посетителей, давая долю из краденого половым…

Вот, посреди комнаты, за столом, в объятиях пожилого плечистого брюнета с коротко остриженными волосами лежит пьяная девчонка, лет тринадцати, с детским лицом, с опухшими красными глазами, и что-то старается выговорить, но не может… Из маленького, хорошенького ротика вылетают бессвязные звуки. Рядом с ними сидит щеголь в русской поддевке – «кот», продающий свою «кредитную» плечистому брюнету…

– Говорят тебе, зеленые ноги, у нас много слободней, потому свои…

– Зеленые… зеленые… будет звонить-то, черт-шалава!..

– Нечто не знают тебя… звонить!.. Ты бы лучше…

Здравствуй, милая, хорошая моя,
Чирнобровая, порря-дач-ная… –

грянули песенники и покрыли разговор.

Передо мной явился новый субъект, в опорках, одетый в черную от грязи, подпоясанную веревкой женскую рубаху с короткими рукавами, из-под которых высовывались страшно мускулистые, тяжелые руки; одну, без пальцев, отрубленных или отмороженных, он протянул мне.

– Salve, amice! – прогремел надо мной густой бас.

– Здравствуй, Лавров, – ответил я.

– С похмелья я, барин; сделай милость, опохмели, многую лету спою.

И не успел я ответить, как Лавров гаркнул так, что зазвенели окна: «Многая лета, многая!..», и своим хриплым, но необычайно сильным басом покрыл весь гомон «Каторги». До сих пор меня не замечали, но теперь я сделался предметом всеобщего внимания. Мой кожаный пиджак, с надетой навыпуск золотой цепью, незаметный при общем гомоне и суете, теперь обратил внимание всех. Плечистый брюнет как-то вздрогнул, пошептался с «котом» и бросил на стол рубль; оба вышли, ведя под руки пьяную девушку…

– Лета многая, лета, водки ставь! – кончил Лавров, не обращая ни на что внимания.

Я спросил полбутылки… Не успели еще нам подать водки, как бородатый мужик, песенник, отвел от меня Лаврова и, пошептавшись с ним, отошел к песенникам…

Снова загремела песня, завизжала гармоника и завыл кларнет… Замешательство,

вызванное восклицанием Лаврова, обратившим внимание на меня, скоро исчезло.

– Спрашивал меня, не сыщик ли ты, испугались, вишь!.. – объяснил мне Лавров, проглатывая стакан водки…

Лаврова я знаю давно. Он сын священника, семинарист, совершенно спившийся с кругу и ставший безвозвратным завсегдатаем «Каторги» и ночлежных притонов. За все посещения мною в продолжение многих лет «Каторги» я никогда не видал Лаврова трезвым… Это – здоровенный двадцатипятилетний малый, с громадной, всклокоченной головой, вечно босой, с совершенно одичавшим, животным лицом. Кроме водки, он ничего не признает, и только страшно сильная натура выносит такую беспросыпную, голодную жизнь…

К нашему столу подошла одна из «теток», баба лет тридцати, и, назвав меня «кавалером», попросила угостить «папиросочкой». Вскоре за ней подсел и мужик, справлявшийся у Лаврова обо мне и успокоившийся окончательно, когда после Лаврова один из половых, знавших меня, объяснил ему, что я не сыщик.

– Уж извините, очень приятно быть знакомыми-с, а мы было в вас ошиблись, думали, «легаш», – протянул он мне руку, без приглашения садясь за стол.

– Водочки дозвольте, а мы вам песенку сыграем. Вы у нас и так гостя спугнули, – указывая на место, где сидел плечистый брюнет, сказал песенник.

Я дал два двугривенных, и песенники грянули «Капказскую».

В дверях главной залы появился новый субъект, красивый, щегольски одетый мужчина средних лет, с ловко расчесанной на обе стороны бородкой. На руках его горели дорогие бриллиантовые перстни, а из-под темной визитки сбегала по жилету толстая, изящная золотая цепь, увешанная брелоками.

То был хозяин заведения, теперь почетный гражданин и кавалер, казначей одного благотворительного общества, а ранее – буфетчик в трактире на том же Хитровом рынке теперь умершего Марка Афанасьева.

Хозяин самодовольно взглянул на плоды рук своих, на гудевшую пьяную ватагу, мановением руки приказал убрать все еще лежавшего и хрипевшего старика и сел за «хозяйский» стол у буфета за чай…

«Каторга» не обратила никакого внимания на хозяина и гудела по-прежнему…

В углу барышник снимал сапоги с загулявшего мастерового, окруженного «тетками», и торговался, тщательно осматривая голенища и стараясь отодрать подошву.

– Три рубля, хошь умри! – топая босой ногой по грязному полу, упирался мастеровой.

– Шесть гривен хошь, – получай! – в десятый раз повторяли оба, и каждый раз барышник тыкал в лицо сапогами мастеровому, показывая, будто «подметки-то отопрели, оголтелый черт! Три рубли, пра, черт!»

– Отперли! Сам ты, рыжая швабра, отопрел! Нет, ты кажи, где отопрели? Это дом, а не сапоги, дом…

– Карраул, убили! – заглушили слова торгующихся дикие крики во весь пласт рухнувшей на грязный пол «тетки», которую кулаком хватил по лицу за какое-то слово невпопад ее возлюбленный.

– Это за любовь-то мою, ока-янный… за любовь-то мо…

– Караул, убили! – еще громче завопила она, получив новый удар сапогом по лицу, на этот раз от мальчишки-полового.

– Знай наших, не умирай скорча! – кто-то с хохотом сострил по поводу плюхи…

Я расплатился и пошел к выходу.

Несколько лет тому назад здесь при мне так же поступили с княжной. Я вступился за нее, но, выручая ее, сам едва остался цел только благодаря тому, что княжну били у самого выхода да со мной был кастет и силач товарищ, с которым мы отделались от дравшихся на площади, где завсегдатаи «Каторги» боялись очень шуметь, не желая привлекать постороннюю публику, а пожалуй, и городового.

Я вышел на площадь. Красными точками сквозь туман мерцали фонари двух-трех запоздавших торговок съестными припасами. В нескольких шагах от двери валялся в грязи

человек, тот самый, которого «убрали» по мановению хозяйской руки с пола трактира… Тихо было на площади, только сквозь кой-где разбитые окна «Каторги» глухо слышался гомон, покрывавшийся то октавой Лаврова, оравшего «многую лету», то визгом пьяных «теток»:

Пьем и водку, пьем и ром,
Завтра по миру пойдем…

## В царстве гномов

### I. В туннеле артезианского колодца

Мой проводник зажег свечу.

Перед нами зияло черное отверстие подземной штольни, обложенное досками. Над ним спускался канат с крючком. Кругом весь пол был усыпан влажными осколками и грязью, вытащенной из земли. У самого края ямы стоял на рельсах пустой вагончик, облепленный той же грязью. Слева ямы спускалась деревянная, коленчатая лестница с перилами и мало-помалу уходила в мрак подземелья. С каждым шагом вниз пламя свечи становилось все ярче и ярче и вырисовывало на бревенчатой стене силуэты. Дневной свет не без борьбы уступал свое место слабому пламени свечки. Через минуту кругом стало темно, как в заколоченном гробу.

С каждым шагом, с каждой ступенькой вниз меня обдавало все более и более холодной, до кости пронизывающей сыростью. А тихо было, как в могиле. Только ручей под ногами шумел, да вторили ему десятки ручейков, выбивавшихся из каменной стены. Передо мною был низкий и, казалось, бесконечный темный коридор. Я взглянул вверх. Над головой виднелось узенькое окошечко синеватого дневного света – это было отверстие шахты, через которое мы спустились. Узкая лестница уходила вверх какими-то странно освещенными зигзагами и серебрилась на самом верхнем колене.

Через секунду открылось четырехугольное отверстие горизонтального прохода, проложенного динамитом. Это – штольня. Вход напоминал мрачное отверстие египетской пирамиды с резко очерченными прямолинейными контурами: впереди был мрак, подземный мрак, свойственный пещерам. Самое черное сукно все-таки носит на себе следы дневного света. А здесь было в полном смысле отсутствие луча, полнейший нуль солнечного света.

Мерцавшая и почти ежеминутно тухнувшая в руках у меня свечка слабо озаряла сырые, каменные с деревянными рамами стены, с которых капала мелкими струйками вода. Вдруг что-то загремело впереди, и в темной дали обрисовалась черная масса, двигавшаяся навстречу. Это был вагончик. Он с грохотом прокатился мимо нас и замолк. Опять та же мертвая тишь. Стало жутко.

Бревенчатые стены штольни и потолок стали теряться, контуры стушевались, и мы оказались снова в темноте. Мне показалось, что свеча моего проводника потухла, – но я ошибался. Он обернулся ко мне, и я увидел крохотное пламя, лениво обвивавшее фитиль. Справа и слева на пространстве немного более двух протянутых рук частым палисадом стояли бревна, подпиравшие верхние балки потолка. Между ними сквозили острые камни стенки туннеля. Они были покрыты какой-то липкой слизью.

Под ногами журчала вода.

– Вот градусник. Показывает всегда семь градусов, зимой и летом. Еще зимой теплее бывает… Босяки раза два приходили, ночевать просились, зимою-то… А ведь нынче у нас июль…

Вдруг свечка погасла.

Впереди, верстах как будто в двух, горела какая-то тусклая, красно-желтая звезда, но

горела без лучей, резко очерченным овалом. Через десять шагов мы уже были около нее; двухверстное расстояние оказалось оптическим обманом. Это была масляная лампочка.

Мы миновали лампу. Вдали передо мной опять такой же точкой заалелся огонек. Это была другая лампа. Начали слышаться впереди нас глухие удары, которые вдруг сменились страшным, раздавшимся над головой грохотом, будто каменный свод готов был рухнуть: это над нами по мостовой проехала пролетка.

Дышать было нечем. Воздуха было мало. Я знал, что его качают особенным аппаратом (Рутта) на мостовой Николо-Воробинского переулка, но не ведал, много ли еще идти вперед для того, чтобы дойти до устья благодетельной трубы.

Вдали, откуда-то из преисподней, послышались неясные глухие голоса. Они звучали так, как будто люди говорили, плотно зажавши рот руками. Среди нас отдавалось эхо этих голосов. На душе стало как-то веселее. Почувствовалось, что мы не одни в этом подземелье, что есть еще живые существа, еще люди. Раздавались мерные, глухие удары.

Блеснули еще две звездочки, но еще тусклее. Значит, впереди еще меньше кислорода, дышать будет еще труднее. Наконец, как в тумане, показалась желтая стена, около которой стояли и копошились темные человеческие фигуры.

Это были рабочие.

Почва под ногами менялась, то выступала из воды, то снова погружалась в нее. Местами бревна расступались и открывали зиявшее отверстие – лагунку, в которую прятались рабочие при взрыве динамитом твердой породы. Это западня.

Не успел я заглянуть в нее, как до меня донеслось:

– Ставь патроны. Эй, кто там, ступай в западню, сейчас подпалим…

– Вот сюда, – торопливо толкнул меня в западню мой проводник.

Рабочие зажгли фитили и побежали к западне, тяжело хлопая по воде. Мы все плотно прижались к стене, а один стал закрывать отверстие деревянной ставней. До нас доносился сухой треск горящих фитилей.

Я из любопытства немного отодвинул ставню и просунул голову, но рабочий быстро отодвинул меня назад.

– Куда суешься – убьет! Во какие сахары полетят.

Не успел он вымолвить, как раздался страшный треск, за ним другой, потом третий, затем оглушительный грохот каких-то сталкивавшихся масс, – и мимо нас пролетела целая груда осколков и глыб.

Динамит сделал свое дело.

Сильным ударом камня вышибло нашу ставню и отбросило ее на середину туннеля.

Мы вышли из западни. И без того душный воздух был теперь наполнен густыми клубами динамитных паров и пылью. Лампы погасли. Мы очутились в полном мраке. Выйдя из западни, мы ощутили только одно – глубокую, густую темь. Эта темь была так густа, что осенняя ночь в сравнении с ней казалась сумерками. Дышалось тяжело. Ощупью, по колено в воде, стараясь не сбиться с деревянной настилки, мы пошли к камере, Я попробовал зажечь спичку, но она погасла. Пришлось ожидать, пока вентилятор очистит воздух.

Мина была взорвана.

Человеческий гений и труд завоевали еще один шаг…

* * *

Таково было дело в июле.

Теперь, в декабре, подземная галерея представляет совсем иной вид. Работы окончены, и из-под земли широким столбом из железной трубы льется чистая, прозрачная, как кристалл, вода и по желобам стекает в Яузу. Количество воды не только оправдало, но даже превзошло ожидания: из недр земли ежедневно вытекает на божий свет двести шестьдесят тысяч ведер.

Темная галерея утратила свой прежний мрачный вид. Запах динамита и копоти едва

заметен. Стены стали менее скользкими и слизистыми, рельсы сняты и заменены ровным, гладким полом, занимающим большую половину штольни. Другая половина занята желобами. Нижний желоб, высеченный в камне, отводит артезианскую и грунтовую воду в реку, а верхний, меньший, с избытком снабжает чистой водою резервуар, помещенный у начала штольни. В резервуар опущен насос, выходящий на поверхность земли и предоставленный в распоряжение публики.

Самое место выхода воды из труб при известном освещении представляет прелестную картину: вода поднимается прозрачным столбом и концентрическим водопадом падает в ящик, выложенный свинцом. Вторая труба артезианского колодца, идущая вверх, служит вентилятором.

Тридцатимесячная работа гномов кончилась и увенчалась полным успехом.

Неведомо для мира копались они под землей на тринадцатисаженной глубине, редко видя солнечный свет, редко дыша чистым воздухом. Удары их молотков и грохот взрывов не были слышны на земле, и очень немногие знали об их работе.

Пройдут года, вода будет течь обильной струей, но вряд ли кому придет в голову желание узнать, каких трудов и усилий стоило добыть ее из камня…

Ничтожные гномы сделали, однако, свое дело.

***1884 г. Москва***

## II. Полчаса в катакомбах

Неглинка – это арестованная в подземной темнице река, когда-то катившая свои светлые струи среди густых дремучих лесов, а потом среди возникающей столицы в такую же чистую, но более широкую Москву-реку.

Но века шли, столица развивалась все более и более, и вместе с тем все более и более зеленели струи чистой Неглинки, сделавшейся мало-помалу такою же клоакой, какою теперь мы видим сестру Неглинки – Яузу.

Наконец, Неглинка из ключевой речки сделалась местом отброса всех нечистот столицы и уже заражала окружающий воздух.

За то ее лишили этого воздуха и заключили в темницу. По руслу ее, на протяжении трех верст, от так называемой Самотеки до впадения в Москву-реку, настлали в два ряда деревянный пол, утвержденный на глубоко вбитых в дно сваях, и покрыли речку толстым каменным сводом.

С тех пор побежали почерневшие струи Неглинки, смешавшиеся с нечистотами, не видя света божьего, до самой реки.

И она стала мстить столице за свое заточение. Она, когда полили дожди, перестала принимать в себя воду, и обширные озера образовались на улицах, затопляя жилье бедняков – подвалы.

Пришлось принять против упорства Неглинки серьезные меры, и нашлись инженеры, взявшиеся за это дело.

В 1886 году, осенью, было приступлено к работам.

В это время мне вздумалось осмотреть эту реку-заточницу, эти ужасные подземные катакомбы.

Тогда только что приступили к работам по постройке канала.

Двое рабочих подняли на улице железную решетку колодца, в который стекают вода и нечистоты с улиц. Образовалось глубокое, четырехугольное, с каменными, покрытыми грязью стенами отверстие, настолько узкое, что с трудом в него можно было опуститься. Туда спустили длинную лестницу. Один из рабочих зажег бензиновую лампочку и, держа ее в одной руке, а другой придерживаясь за лестницу, начал спускаться.

Из отверстия валил зловонный пар. Рабочий спустился. Послышалось внизу глухое

падение тяжелого тела в воду и затем голос, как из склепа:

– Что же, лезь, что ли!

Это относилось ко мне. Я подтянул выше мои охотничьи сапоги, застегнул на все пуговицы кожаный пиджак и стал опускаться.

Локти и плечи задевали за стенки трубы. Руками приходилось крепко держаться за грязные ступени отвесно стоящей качающейся лестницы, поддерживаемой, впрочем, сверху рабочим, остававшимся наверху.

С каждым шагом вниз зловоние становилось все сильнее и сильнее. Становилось жутко.

Наконец, послышался подо мной шум воды и хлюпанье.

Я посмотрел наверх. Мне виден был только четырехугольник голубого, яркого неба и улыбающееся лицо рабочего, державшего лестницу.

Холодная, до кости пронизывающая сырость охватила меня. Наконец, я спустился на последнюю ступень и, осторожно опуская ногу, почувствовал, как о носок сапога зашуршала струя воды…

– Опускайся смелей; становись, неглубоко тутотка! – глухо, гробовым голосом сказал мне рабочий.

Я встал на дно, и холодная сырость воды, бившейся о мои колени, проникла сквозь сапоги.

– Лампочка погасла, нет ли спички, я подмочил свои, – опять из глубины тьмы заговорил невидимый голос.

Спичек у меня не оказалось, рабочий вновь полез наверх за ними. Я остался совершенно один в этом дальнем склепе и прошел, по колено в бурлящей воде, шагов десять.

Остановился. Кругом меня был страшный подземный мрак, свойственный могилам. Мрак непроницаемый, полнейшее отсутствие солнечного света. Я повертывал голову во все стороны, но глаз мой ничего не различал. Я задел обо что-то головой, поднял руку и нащупал мокрый, холодный, бородавчатый, покрытый слизью каменный свод – и нервно отдернул руку… Даже страшно стало.

Тихо было, только внизу журчала вода. Каждая секунда ожидания рабочего с огнем мне казалась вечностью. Я еще подвинулся вперед и услышал шум, похожий на гул водопада. Действительно, как раз рядом со мной гудел водопад, рассыпавшийся миллионами грязных брызг, едва освещенных бледно-желтоватым светом из отверстия уличной трубы.

Это оказался сток нечистот и воды с улицы.

За шумом водопада я не слыхал, как ко мне подошел рабочий и ткнул меня в спину.

Я обернулся.

В руках его была лампочка в пять рожков, но эти яркие во всяком другом месте огоньки здесь казались красными звездочками, без лучей, ничего почти не освещавшими, не могшими побороть и фута этого непроницаемого мрака, мрака могилы.

Мы пошли вперед по глубокой воде, обходя по временам водопады стоков с улиц, гудевшие под ногами.

Вдруг страшный грохот, будто от рушащихся зданий, заставил меня вздрогнуть.

– Что это такое? Обрушилось что? – испуганным голосом спросил я.

– Это мы из-под бульвара под мостовую вышли, по площади телега проехала, ну и загремело.

Потом все чаще и чаще над моей головой гремели экипажи, но так гремели и так страшно отдавался этот гром в подземелье, что хотя я и знал безопасность этого грома, но все-таки становилось жутко.

С помощью лампочки я осмотрел, стены подземелья, сырые, покрытые густой слизью.

Мы долго шли, местами погружаясь в глубокую тину или невылазную, зловонную, жидкую грязь, местами наклоняясь, так как заносы грязи были настолько высоки, что невозможно было идти прямо. В одном из таких заносов я наткнулся на что-то мягкое. При свете лампочки мне удалось рассмотреть до половины занесенный илом труп громадного

дога. Он лежал сверх стока.

– И люди, полагать надо, здесь упокоены есть, – пояснил мне спутник.

– Люди?! – удивился я.

– Надо полагать; мало ли в Грачевских притонах народа пропадает; поговаривают, что и в Неглинку спускали… Опять воры, ежели полиция ловила, прятались сюда… А долго ли тут и погибнуть… Чуть обрушился, и готов.

Мы продолжали идти, боязливо ощупывая дно ногой, перед тем как сделать шаг.

Впереди нас показалось несколько красноватых, чуть видных звездочек, мерцавших где-то далеко, далеко.

– А далеко еще? С полверсты будет? – спросил я.

Да вот и пришли.

Я был поражен. Огонек, казавшийся мне за полверсты, был в пяти шагах от меня. Так непроницаем подземный мрак.

Далее идти было невозможно. Дно канала занесено чуть не на сажень разными обломками, тиной, вязкой грязью, и далее двигаться приходилось ползком. Притом я так устал дышать зловонием реки, что захотелось поскорее выйти из этой могилы на свет божий.

Я остановился у люка наверх и снова увидал четырехугольник голубого неба. Я пробыл в катакомбах полчаса, но эти полчаса показались мне вечностью. Я выбрался наверх и долго не мог надышаться чистым воздухом, долго не мог смотреть на свет…

Недавно я вновь сделал подземную прогулку и не мог узнать Неглинного канала: теперь это громадный трехверстный коридор, с оштукатуренным потолком и стенами и с выстланным тесаным камнем дном. Всюду можно идти во весь рост и, подняв руку, нельзя достать верхнего свода. От старого, остался только тот же непроглядный мрак, зловоние и пронизывающий до костей могильный холод…

## Атаман Буря и пиковая дама

В 1885 году, 1 января, выползли на свет две газетки, проползли сколько могли и погибли тоже почти одновременно, незаметно, никому не нужные. Я помню, что эти газетки были – и только, мне было не до них. Я с головой ушел в горячую работу в «Русских ведомостях», мешать эти газетки мне не могли, настолько они были пусты и безжизненны.

Через полстолетия припомнились они не за их достоинства, а за что-то другое, видимо, более яркое и характерное, чем в других, более популярных газетах того времени.

Газеты эти – «Голос Москвы» Васильева и «Жизнь» Д. М. Погодина. Н. В. Васильев – передовик «Московских ведомостей» – был редактором «Голоса Москвы», а издателем был И. И. Зарубин, более известный по Москве под кличкой «Хромой доктор».

Иван Иванович Зарубин был и хромой и доктор, никогда никого не лечивший, погруженный весь в разные издательства, на которых он вечно прогорал и, задолжав, обыкновенно исчезал из города. Исчез он из Петербурга, где издавал после «Голоса Москвы» журнал «Здоровье», скончавшийся, как и все издания этого доктора, от карманной чахотки. Когда явился в редакцию «Здоровья» судебный пристав описывать за долги имущество И. И. Зарубина, то нашел его одного в единственной комнате с единственным столом, заваленным вырезками из газет, и с постелью, постланной на кипах журнала, а кругом вдоль стен вместо мебели лежали такие же кипы.

И. И. Зарубин с ножницами в руках любезно встретил судебного пристава и, указывая ему на одну из кип, предложил:

– Садитесь на «Здоровье»!

Газета «Голос Москвы», издававшаяся года за два до «Здоровья», памятна для меня тем, что в ней Влас Михайлович Дорошевич прямо с гимназической скамьи начал свою литературную карьеру репортером. Его ввел в печать секретарь редакции «Голоса Москвы» Андрей Павлович Лансберг.

Много-много лет спустя В. М. Дорошевич в дружеской беседе рассказал о первой

нашей встрече.

В поисках сенсаций для «Голоса Москвы» В. М. Дорошевич узнал, что в сарае при железнодорожной будке, близ Петровско-Разумовского, зарезали сторожа и сторожиху. Полный надежд дать новинку, он пешком бросился на место происшествия. Отмахав верст десять по июльской жаре, он застал еще трупы на месте. Сделав описание обстановки, собрав сведения, он попросил разрешения войти в будку, где судебный следователь производил допрос.

– Я обратился к уряднику, – рассказывал он мне через десять лет, – караулившему вход, с просьбой доложить следователю обо мне, как вдруг отворилась дверь будки, из нее быстро вышел кто-то – лица я не рассмотрел – в белой блузе и высоких сапогах, прямо с крыльца прыгнул в пролетку, крикнул извозчику – лихач помчался, пыля по дороге.

Меня, – продолжал рассказ В. М. Дорошевич, – принял судебный следователь Баренцевич, которому я отрекомендовался репортером: «Опоздали, батенька! Гиляровский из «Русских ведомостей» уже был и все знает. Только сейчас вышел… Вон едет по дороге!» Я был оскорблен в лучших своих чувствах, и как я тебя в тот миг ненавидел!

Печатался «Голос Москвы» в надворном флигеле дома Горчакова на Страстном бульваре в типографии В. Н. Бестужева, который был кругом в долгах, а ему, в свою очередь, был должен только один человек на свете: И. И. Зарубин!

Скоро сотрудникам перестали аккуратно платить, и редактор Н. В. Васильев ушел. Под газетой появилась подпись «Редактор-издатель И. И. Зарубин», но к декабрю фактически он уже владельцем газеты не был – она перешла к В. Н. Бестужеву, который и объявил о подписке на 1886 год.

Подписка была плохая. Забрав деньги злополучных подписчиков, В. Н. Бестужев прекратил газету, а И. И. Зарубин исчез из Москвы…

В типографии В. Н. Бестужева печаталась еще ежедневная газета «Жизнь», издательницей которой была Е. Н. Погодина, а редактором Д. М. Погодин, сын известного ученого М. П. Погодина, владелец типографии в доме Котельниковой на Софийской набережной.

В этой типографии Д. М. Погодина в 1881 году начал печататься «Московский листок», но через год перешел в свою типографию. Успех «Московского листка» вскружил голову супругам Погодиным, и они начали издавать сперва «Московскую газету», которую дотянули до 1884 года. Потратив все наличные деньги из своего наследства, они прекратили издание, а с 1 января 1885 года выпустили за теми же подписями «Жизнь», печатая ее в своей типографии. Газета не шла ни в розницу, ни по подписке. После пасхи типографию у них отняли за долги, и газета стала печататься в типографии И. И. Смирнова, на Маросейке, в доме Хвощинской. Платить было нечем, и газету надо было прекращать, но тут явился на помощь известный адвокат Ф. Н. Плевако, который дал денег и напечатал в ней несколько статей, отказавшись от дальнейшего участия.

*** * ***

Года за два перед этим в Москве появился некто В. Н. Бестужев, дворянин одной из черноземных губерний, выдававший себя за богатого человека, что ему и удавалось благодаря его импозантной наружности.

Здоровенный, красивый малый, украшенный орденами, полученными во время турецкой кампании, он со всеми перезнакомился, вел широкую жизнь, кутил и скандалил, что в особый грех тогда не ставилось, и приобрел большую типографию в доме П. И. Шаблыкина, на углу Большой Дмитровки и Газетного переулка.

П. И. Шаблыкин, состоявший тогда чиновником особых поручений при генерал-губернаторе, покровительствовал своему арендатору типографии, открытой им, кажется, на имя жены, которая не касалась дела, а распоряжался всем сам В. Н. Бестужев.

В типографии его печатались тогда «Современные известия» и еще несколько изданий.

Сам он тоже выпускал какой-то «Листок объявлений», выходивший раза 3–4 в год. Желание иметь свою газету в нем кипело. Пробовал просить разрешение на издание, но столь прославленному скандалисту получить его не удавалось. Узнав, что дела Погодиных плохи, В. Н. Бестужев вошел в газету с тем, что имена издателя и редактора остаются, а фактически газета будет принадлежать ему.

Редакция «Жизни» помещалась в третьем этаже надворного флигеля дома Шаблыкина, на Большой Дмитровке, против конторы Большого театра, где впоследствии был Театральный музей С. И. Зимина.

Заведовал редакцией секретарь Нотгафт, мужчина чрезвычайно презентабельный, энглизированного вида, с рыжими холеными баками, всегда изящно одетый, в противовес всем сотрудникам, журналистам последнего сорта, которых В. Н. Бестужев в редакции поил водкой, кормил колбасой, ругательски ругал, не имея возражений, потому что все знали его огромную физическую силу и привычку к мордобою.

Издательница и редактор не бывали в редакции: чего доброго, еще изобьют! Газета печаталась и не шла. Объявлений никаких не было. Были только два бесплатных: первое – «Продается библиотека покойного М. П. Погодина 10000 томов. Есть книги на сарматском, датском, шведском и финском языках. Обширный Славянский Отдел. Каталог – целый том, стоит 400 рублей», и второе: «Портретная галерея русских писателей (120 масляной краской), оставшаяся после покойного М. П. Погодина, продается, Софийская набережная, д. Котельниковой».

В один из обычных маловеселых редакционных дней бегал по редакции, красный от волнения и вина, В. Н. Бестужев и наконец, выгнав всех сотрудников, остался вдвоем с Нотгафтом. Результатом беседы было то, что в газете появился, на первой и второй страницах, большой фельетон: «Пиковая дама». Повесть. «Пиковая дама означает тайную недоброжелательность». «Новейшая гадательная книга…».

Все было в фельетоне, как у А. С. Пушкина.

В конце фельетона была подпись: «Ногтев. Продолжение следует».

Эффект был поразительный! По Москве заговорили, что «Пиковая дама» А. С. Пушкина печатается в газете «Жизнь»!

Всю розничную торговлю в Москве того времени держал в своих руках крупный оптовик Петр Иванович Ласточкин, имевший газетную торговлю у Сретенских ворот и на Моховой. Как и почему, – никто того тогда не знал, – П. И. Ласточкин, еще в 4 часа утра, в типографии взял несколько тысяч номеров «Жизни» вместо двухсот экземпляров, которые брал обычно. И не прогадал.

Мало того, чуть ли не целый день в типографии печатался этот номер, и его раскупали газетчики.

Московские газеты напустились на эту выходку «Жизни»; одни обвиняли редакцию в безграмотности, другие в халатности, бранили злополучную чету Погодиных.

Эту дикую выходку В. Н. Бестужева своим практическим умом разгадал один Н. И. Пастухов.

Когда ему за утренним чаем А. М. Пазухин, вошедший с рукописью в руках и газетой «Жизнь», подал заметку о безграмотной редакции, Н. И. Пастухов, уже заранее прочитавший газету, показал ему кукиш и сказал:

– А этого он не хочет?

– Я не понимаю, Николай Иванович! Кто?

– Бестужев твой! Ведь это он для рекламы такую штуку отчубучил! Вот, гляди, завтра все его ругать начнут, а ему только это и надо!

* * *

Н. И. Пастухов правильно угадал смысл выходки В. Н. Бестужева. Газета с этого дня пошла в ход. Следующий номер также разошелся в большом количестве, но в нем было

только помещено следующее письмо:

Письмо в редакцию

> «Чтобы снять с почтенной редакции газеты «Жизнь» всякое нарекание в каком-либо недосмотре или небрежном отношении к делу, прошу напечатать настоящее мое заявление: заведуя в качестве секретаря редакции получаемыми рукописями и формируя к выпуску газету, я во вчерашнем № 125 «Жизни» допустил напечатать фельетон «Пиковая дама». Вполне доверяя лицу, мне лично известному, и без сведения редактора приняв вышеозначенный фельетон, я прямо передал его в набор, никак не предполагая, что за ним кроется плагиат, и затем допустил его к напечатанию. Грубая ошибка была обнаружена уже по выходе газеты, и только настоящим письмом считаю возможным разъяснить мистификацию. К. Ногтев».

Фамилия эта в литературных кругах, конечно, была неведомой.

По сведениям из типографии стало известно, что в гранках фельетон был без всякой подписи, потом на редакторских гранках появилась подпись, сделанная В. Н. Бестужевым: «К. Нотгафт», и уже в верстке рукой выпускающего была зачеркнута и поставлено «Ногтев».

Н. И. Пастухов оказался прав. Газету разрекламировали. На другой день вместе с этим письмом начал печататься сенсационный роман А. Ив. Соколовой «Новые птицы – новые песни», за ее известным псевдонимом «Синее домино».

Роман заинтересовал публику, и на некоторое время «Жизнь» удержала розницу. Появились платные крупные объявления. Половину первой страницы заняли объявления театров: «Частный оперный театр» в доме Лианозова, в Газетном переулке; «Новый театр Корша»; «Общедоступный театр Щербинского», носивший название Пушкинского, в доме барона Гинзбурга на Тверской; «Театр русской комической оперы и оперетки» Сетова в доме Бронникова, на Театральной площади. На четвертой странице появились объявления докторов по секретным болезням, «подседнокопытная мазь от всех болезней Иванова», а также стали печататься объявления фирм: правления мануфактур Саввы Морозова, Банкирская контора Выдрина, Брокара, Ралле, Депре.

В мелких газетах часто печатались судебные отчеты о скандалах В. Н. Бестужева, но большие газеты, в частности «Русские ведомости», такими делами не интересовались.

На время В. Н. Бестужев затих, пошли слухи, что он женился на богатой – женился и переменился! Снял большую типографию, занялся издательством, а потом через полгода опять закутил.

Однажды я выходил из театра Корта и услыхал, как швейцар Роман стремительно выбежал на театральное крыльцо и кричит:

– Одиночка Бестужева, Герасим!

За швейцаром в николаевской шинели с бобровым воротником и волчьей папахе козырем вышел атлет с закрученными усами и сверкающими глазами.

Швейцар поискал одиночку Бестужева, вернулся и доложил атлету в николаевской шинели:

– Герасима нет! Его в участок пьяного отправили!

– Мер-рзавец! – загремел атлет, взглянул на меня, остановился на полслове, от удивления раскрыл рот, стремительно бросился и обнял меня: – Сологуб! Ты ли это? Откуда? Пойдем к «Яру»!

Сделавшись центром внимания знакомых, выходивших из театра, я спустился с ним на тротуар, а пока он нанимал извозчика к «Яру», исчез в толпе и долго слышал еще его ругань.

Так вот он кто такой, В. Н. Бестужев!

Эта встреча была вскоре после напечатания «Пиковой дамы», история которой еще не заглохла среди москвичей.

* * *

В это время дела В. Н. Бестужева, по-видимому, не веселили. Он перевел в свою типографию редакцию «Жизни», в дом Горчакова на Страстном бульваре. Кредиторы и полиция ловили В. Н. Бестужева: первые – за долги, вторые – чтобы отправить на высидку в «Титы» по постановлениям десятка мировых судей, присудивших его к аресту за скандалы и мордобития. Ни сотрудники, ни типография денег не получали. Одна газета закрылась, а другая едва выходила. Лучшие наборщики разошлись – остались пьяницы и «подшибалы» с Хитрова рынка.

Подшибалами были спившиеся с круга наборщики, выгнанные отовсюду и получавшие работу только в некоторых типографиях поденно, раз в неделю, в случае какой-нибудь экстренности.

Днем они, поочередно занимая друг у друга опорки и верхнее рваное платье, выбегали из ворот в Глинищевский переулок и становились в очередь у окна булочной Филиппова, где ежедневно производилась булочной раздача хлеба, по фунту и больше, для нищих бесплатно. Этим подаянием и питались подшибалы, работавшие у Б. Н. Бестужева.

Подшибалы – это, так сказать, яркие типы «рабов капитала». В старые времена на подшибалах наживали деньги типографщики. Делились они на ночных и денных. Ночные получали вдвое и приглашались даже во все газеты, кроме «Русских ведомостей», «Московского листка» и «Русского слова», где штат наборщиков был постоянный, полностью укомплектованный. Особенно типографщики нуждались в подшибалах перед праздниками, когда листы газет были забиты объявлениями. Многие мелкие типографии даже жили подшибалами, но и крупные иногда не брезговали пользоваться их дешевым трудом. Богатая типография Левенсона, находившаяся до пожара в собственном огромнейшем доме на Петровке, была всегда переполнена подшибалами. Лучшие из них получали 50 копеек в день, причем эти деньги им платились в два раза: 30 копеек в полдень, а вечером остальные 20, чтобы не запили днем. Расходовались эти деньги подшибалами так: 8 копеек сотка водки, 3 – хлеб, 10 – в «пырку», так звались харчевни, где за пятак наливали чашку щей и на 4 копейки или каши с постным маслом, или тушеной картошки; иные ухитрялись еще из этого отрывать на махорку. Вечером меню было более сокращенным, из которого пятак оставлялся на ночлег в доме Ярошенко на Хитровом рынке, где в двух квартирах ютились специально подшибалы. Некоторые из подшибал ухитрялись ночевать в типографиях Левенсона, В. Н. Бестужева и еще кое у кого под реалами.

Подшибал использовали иногда типографщики при забастовках наборщиков, и они работали под защитой полиции.

Отсюда и название: «Подшибалы!»

Эти подшибалы и составляли основную массу работающих в типографии В. Н. Бестужева. Спали под кассами, на полу, спали в кухне, где кипятился куб с горячей водой, если им удавалось украсть дров на дворе. О жалованье и помину не было.

Поздно ночью, тайно, являлся к ним пьяный В. Н. Бестужев, посылал за водкой, хлебом и огурцами, бил их смертным боем – и газета выходила. Подшибалы чувствовали себя как дома в холодной, нетопленной типографии, и так как все были разуты и раздеты – босые и голые, то в осенние дожди уже не показывались на улицу.

Вдруг на номере 223 газета остановилась – это был последний номер издания В. Н. Бестужева.

По требованию домовладельца явилась полиция и стала выгонять силой подшибал и отправлять в больницу: у кого тиф, у кого рожа!

В этот год свирепствовали в Москве заразные болезни, особенно на окраинах и по трущобам. В ночлежках и притонах Хитровки и Аржановки то и дело заболевали то брюшным, то сыпным тифом, скарлатиной и рожей.

За разными известиями мне приходилось мотаться по трущобам, чтобы не пропустить интересного материала. Как ни серьезны, как ни сухи были читатели «Русских ведомостей»,

но и они любили всякие сенсации и уголовные происшествия, а редакция ставила мне на вид, если какое-нибудь эффектное происшествие раньше появлялось в газетах мелкой прессы.

На одном из расследований на Хитровке, в доме Ярошенко, в квартире, где жили подшибалы, работавшие у В. Н. Бестужева, я заразился рожей.

Мой друг еще по холостой жизни доктор Андрей Иванович Владимиров лечил меня и даже часто ночевал. Температура доходила до 41°, но я не лежал. Лицо и голову доктор залил мне коллодиумом, обклеил сахарной бумагой и ватой. Было нечто страшное, если посмотреться в зеркало.

В это время зашел ко мне Антон Павлович Чехов, но А. И. Владимиров потребовал, чтобы он немедленно ушел, боясь, что он заразится.

Когда я стал поправляться, заболел у меня ребенок скарлатиной. Лечили его А. П. Чехов и А. И. Владимиров. Только поправился он – заболела сыпным тифом няня. Эти болезни были принесены мной из трущоб и моими хитрованцами.

– Вот до чего ваше репортерство довело! – говорила мне няня.

*** * ***

Во время этих перипетий В. Н. Бестужев исчез из Москвы.

До его исчезновения, кроме театра Корша, я только один раз его встретил за завтраком в ресторане Ливорно.

Забегаю как-то вечером перекусить в этот актерский ресторанчик в Кузнецком переулке. Публики, по летнему времени, никого. За столиком сидят трое: Дорошевич, Риваль-Прохоров, талантливый романист, старый мой друг, и В. Н. Бестужев.

В. М. Дорошевич еще в потрепанных штанах, которые настолько коротки, что не закрывают растянутых резинок, просящих есть штиблет, Риваль в мятой крахмальной рубахе и галстуке шарфиком, бант которого раскинулся по засаленному воротнику пиджачка с короткими рукавами, а В. Н. Бестужев в шикарной паре.

– Гиляй, милый, садись с нами! Это Бестужев… Это Дорошевич… А это Владимир Алексеевич Гиляровский, которого вы, конечно, знаете.

Они оба встали и пожали мне руку. В. М. Дорошевич на меня смотрел сумрачно, а В. Н. Бестужев расплылся в улыбку:

– Да мы с Владимиром Алексеевичем давно знакомы! Во-первых, оба, так сказать, герои турецкой войны, а потом по Пензе. Я – пензенский помещик!

О встрече у подъезда театра Корша – ни слова. И начал рассказывать о широкой жизни в Пензе, о катаниях на тройках, обедах у губернатора – и еще черт знает о чем залихватски врал.

Я не мешал ему – и он, по-видимому, был очень этим доволен.

На самом деле все было гораздо проще: в 1878/79 году я служил под фамилией Сологуба актером в труппе Далматова в Пензенском театре, куда приехал прямо с турецкой войны.

В вечер, о котором идет рассказ, шла оперетка «Птички певчие» с участием лучшей опереточной певицы того времени Ц. А. Раичевой. Губернатора играл Далматов, Пиколло – Печорин, я – полицмейстера. Сбор неполный, но недурной.

Во время первого антракта смотрю со сцены в дырочку занавеса. Публика – умная в провинции публика – почти уже уселась, как вдруг, стуча костылями и гремя шпорами и медалями, движется, возбуждая общее любопытство, коренастый, могучего вида молодой драгунский унтер-офицер, вольноопределяющийся, и садится во втором ряду.

В последнем акте, смотря со сцены, я заметил, что место его было пусто.

Публика разошлась. Мы разгримировались, переодеваемся. Вдруг в уборную В. П. Далматова влетает содержатель буфета Руммель и жалуется, что военный на костылях, весь в орденах, еще в предпоследнем антракте уселся в комнатке при буфете, распорядился подать вина на двадцать рублей, напился и уснул.

– Когда я его стал будить, – рассказывал Руммель, – он начал ругаться, вынул револьвер, грозил всех перестрелять, а когда я сказал, что пошлю за полицией, – он заявил, что на полицию плюет и разговаривать может только с плац-адъютантом. Мы уже посылали за полицией, но квартальный его знает и боится войти: застрелит! – закончил содержатель буфета.

В. П. Далматов смекнул, в чем дело, и ко мне:

– Володя, надень свою черкеску, Георгия, возьми у реквизитора офицерские погоны и аксельбанты адъютантские, подклей усики и нагони-ка на него холоду.

Я надел свою шикарную черкеску с малиновым бешметом, Георгия, общеармейские поручичьи погоны и шашку. Для устрашения подклеил усы, загнул их кольцом, надвинул на затылок папаху и пошел в буфет, откуда далеко доносился шум.

Смотрю в дверную щель. Развалившись на стуле, за столом с посудой сидит огромный юнкерище, стучит по столу и требует шампанского. На соседнем стуле лежат два черных костыля и шинель солдатского сукна.

В коридоре толпились актеры и смотрели в другую дверь. Я быстро подошел к чудищу.

– Встать! – крикнул я так, что юнкер в испуге вскочил, забыв о костылях, и взял под козырек, хотя шапки у него не было.

– Какого полка?

– Московского драгунского…

– Это что у вас за медали? Откуда медаль в память войны двенадцатого года? Севастопольская, за усмирение польского мятежа?! Откуда они?

– Я старший в роде. Отцовские и дедовские медали!

– А почему за последнюю войну шесть штук одинаковых?

– Из разных мест посылали…

– А костыли для чего?

– У меня была сломана нога, г-н поручик!

Он к каждому ответу прибавлял «господин поручик» и отрезвел сразу.

– Ну, вот что, молодой человек! Я сам был молод, сам кутил. Прощаю вас на первый раз. Извольте уходить домой! Следовало бы вас за эти медали и за все поведение на гауптвахту, но я прощаю. Идите!

– Очень благодарен, г-н поручик. Извиняюсь… лишка выпил… – И уж совсем другим тоном к буфетчику: – Эй, ты, сколько с меня?

– Двадцать рублей…

Он вынул из кармана пачку денег, бросил двадцатипятирублевку:

– Сдачи не надо!

– Г-н поручик, разрешите надеть шинель?

– Одевайтесь и уходите! Живо!

Я повернулся и вышел в коридор. На него надели шинель, и он молча застучал костылями по коридору и ушел, бросив рубль сторожу Григорьичу, который запер за ним дверь.

На другой день пристав, театрал и приятель В. П. Далматова, которому тот рассказал о вчерашнем, сказал, что это был драгунский юнкер Владимир Бестужев, который, вернувшись с войны, пропивает свое имение, и что сегодня его губернатор уже выслал из Пензы за целый ряд буйств и безобразий.

Пристав уже раньше знал все происшествие от буфетчика Руммеля, который также рассказал обо всем в гостинице Варецова, где жил юнкер.

Все подробности этого события дошли и до В. Н. Бестужева, который собрался идти и пристрелить актера Сологуба, так его осрамившего, но в это время пришла полиция и, не выпуская на улицу, выпроводила его из Пензы. Таково было наше первое знакомство.

После закрытия газеты В. Н. Бестужев, как я уже сказал, словно в воду канул.

Прошло много лет. В. М. Дорошевич стал знаменитостью, и наши отношения обратились в теплую и долгую дружбу. Он совершил свою блестящую поездку на Сахалин и,

вернувшись в Москву, первым делом приехал ко мне:

– А тебе я с Сахалина поклон привез от приятеля.

– От доктора Лобаса? – я находился с ним в переписке по поводу его кружка на Сахалине «Помощь каторге».

– Что Лобас! От Володи Бестужева! Только о тебе и говорил, вспоминал, как ты ему в Пензе клочку задал.

Оказалось, что В. Н. Бестужев очутился на Сахалине в должности смотрителя каторжной тюрьмы и бил каторжников смертным боем – и при этом уверял всех и был сам глубоко уверен, что он лучший из сахалинских тюремщиков.

Каторга звала его:

– Атаман Буря.

В конце концов он попал под суд за зверства, растраты, пьянство, но не дождался суда: умер от разрыва сердца в камере следователя перед допросом.

## На плотах

Лед прошел. Вода на Москве-реке стала сбывать, а площади низин все еще были залиты на далекое пространство. По более высоким берегам синелись на черном иле надвинутые одна на другую и забытые водопольем льдины; по оврагам в виде громадных спящих чудовищ лежал снег, а на обрывах на коричневом фоне старой травы просвечивали зеленоватые пятнышки и оживляли мертвые обрывы. Река ожила. Серые чайки парили над водой, с трудом рассматривая в желтой ряби стальную полоску, камнем бросались за добычей, хлопали по воде крыльями, и трепещущая стальная полоска, извиваясь, блестела в их изгогнутых клювах.

Время от времени из-за дальнего мыса выдвигалась темная масса, широкая, длинная, извивающаяся по зеркалу воды, как исполинская змея. На концах ее мерно покачивались взад и вперед высокие фигуры, и когда масса подвигалась ближе, то фигуры росли, росли и, как на волшебной декорации, обращались в мужиков и баб, усиленно поднимавших неуклюжие длинные весла на концах дровяного плота.

Один из таких плотов подходил к Москве.

На середине плота, на куче соломы, с багром в руках стоял мужик, одетый в синюю пестрядинную рубаху, расстегнутый жилет, лапти и овчинную шапку, заломленную на затылок. Вся фигура мужика с грудью колесом, поднятой головой и рукой на багре, которым он направлял оголовок плота, напоминала в общем лихого лоцмана на картинах крушений судов. Его лицо с чуть заметной растительностью, двумя клочками приткнувшейся к углам подбородка, так и горело беззаветной удалью и сознанием своей силы. Рамка волос, выбившихся из-под шапки и прилипших к изрытому морщинами лбу, была уже седовата и показывала, что сгонщику немало лет.

Плот мчался… Навстречу ему издали бежали главы церквей, красные фабрики, высокие трубы с закопченными верхушками и круглыми черными шарами. Вот белой полосой на темной перспективе замелькал ажурный Бородинский мост, полоса становилась все шире, длиннее и вдруг, освещенная мелькнувшим из-за облака солнышком, представилась плотовщикам гигантским серебряным кружевом, растянутым в воздухе между берегами реки.

– Никита Семенов, мост-от, мост-от, серебряный вроде!.. – сорвалось у кого-то из гребцов, уставившихся на панораму Москвы и лениво поднимавших весла.

А Никита весь погрузился в развернувшуюся перед ним давно знакомую картину и ничего не слышал.

Он смотрел и на кружево моста, и на дымящиеся фабрики, и на золотые главы далекого Новодевичьего монастыря, и на щетину лесистых Воробьевых гор, и на низменный Дорогомиловский берег. Каждое местечко было знакомо Никите.

Невольно всплыла в памяти Никиты первая путина на плотах из-под Можая в Москву,

когда за десять рублей ассигнациями он стоял в веслах на дровяном плоту, а потом и каждую весну стал ходить на плотах, как сделали его, удалого да ловкого, сперва канатчиком, а потом сгонщиком. И хозяин сам, бывало, на плоту стоит, а правит все Никита. Сорок одну весну на плотах ходит. А сколько горя насмотрелся он за это время! Сколько народу на его глазах потонуло, померло, без вести пропало, а уж сколько пропилось да в острогах из-за этих сплавов сгнило – и не перечтешь… И вчера один канатчик потонул под Троицей. Стали на ночь канатиться, мужик-от соскочил в воду, думал, мелко, ан в глубь попал да под плот – только и видели… Может, зацепился за дерево, так до Москвы дойдет да при выгрузке всплывет синий, опухлый. А баба-то его как вчера убивалась, все в воду рвалась, так к плоту самое-то от греха привязали…

С берега неслась звонкая, заунывная песня.

– И отчего это, – взбрело Никите, – сорок годов на погонах хожу, а песен на нашей работе не слыхивал? Сапожник поет, портняга колченогий поет, столяр поет и бурлак, и тот, на что уж каторжный, тоже временем поет, а нам вот песня и на ум нейдет.

И стал Никита добиваться, отчего на плотах песня не спорится. Сообразил он, что как сел на плот, так и греби до поздней ночи, – значит, не до песни; потом на ночь к берегу приставать, канатчик должен первый с приколом в воду соскочить, плотовщики окромя баб тоже канатиться в воду лезут. Приканатились. Холод, мокреть, обсушиться негде, спать некогда – того и гляди, плот водой сорвет. Какая тут песня? А потом опять с пустой кашицы да с черствого хлеба петь-то мало радости. И решил Никита, что в их работе петь нельзя.

Солнышко опять спряталось за тучу, и мост, вместо ласкавшего взгляд серебряного кружева, казался серой громадной массой, утвержденной на серых, мрачных скалах, несшихся навстречу плоту и грозивших разбить его вдребезги. Плотовщикам ясно виделось, что мост несется на их плот, и они боязливо косились на него, усиленнее работая веслами.

– Наляг, братеники, наляг! – зычно покрикивал Никита, и гребцы, ободренные ровным, спокойным голосом первого на реке сгонщика, энергичнее налегали на весла и отводили плот на фарватер.

А мост все надвигался ближе и ближе, грознее и грознее вставал из воды каменный устой.

Плотовщики вскидывали головы время от времени, при передышке между ударами весла, различали живую стену у решетки моста и городового, бессильно старавшегося отогнать публику.

С моста доносились возгласы:

– На бык, ей-богу, на бык! Во налетит… Вдребезги…

– Куда правишь-то, черт, пра-а черт!.. – Последний эпитет относился к Никите.

А опасность была близка. Плот несло прямо на каменный устой, и публика, охотница до ужасных зрелищ, приготовилась видеть крушение.

– Наляг, братеники, наляг! – громче прежнего донеслось до зрителей, и они видели, как еще крепче мужики налегли на весла, как Никита багром отделил с одной стороны на аршин оголовок плота от длинного туловища, как это туловище дрогнуло, изогнулось змейкой в дугу, как оголовок с шестью низко нагибавшимися в веслах мужиками и двумя бабами исчез под мостом и весь плот, минуя устой, помчался туда же.

– Мама, мы поехали, а плот остановился, – услыхали сверху гребцы детский голос, вскоре заглушённый под мостом отголоском ударов весел, плеском воды о каменные устои и грохотом от перебегавшей на другую сторону моста публики.

Плот вынырнул на другой стороне и прямо как стрела продолжал нестись. Гребцы бросили весла и смотрели назад, на народ.

Никита, весь сияющий, без шапки обернулся лицом к мосту и раскланивался.

– Молодец, счастливо, с прибытием! – кричали ему.

– Наляг, братеники, наляг! – опять загудело по реке и раскатилось под мостом.

Опять закланялись гребцы на концах плота, зрителям плот казался все короче и короче, солома на середине плота представлялась желтым, неясным пятном, а мужики и бабы

потеряли человеческие формы и казались нагибавшимися очепами деревенского колодца.

Никита надел шапку и плотнее уперся багром в оголовок. Около плота мелькнули две-три небольших лодочки с гребцом и рулевым. Из лодок торчали багры, поленья дров, доски.

– Никита Семенов, мартышки-то мыряют! – крикнул молодой парень с оголовка плота Никите.

– У нас, Ваня, не разживутся полешком… Вороны проклятые, только и ждут, как бы плот разбило где… Чужим горем кормятся!..

– Дома по Дорогомилову-то понастроили!..

– Наляг, наляг, ребятки, канатиться скоро!

Направо перед плотовщиками раскрылась необозримая равнина Красного луга, на которой, как разбросанные кусочки зеркала, блестели оставшиеся от разлива лужи, и ряд таких же зеркал, прямых и длинных, словно обрезанных по мерке, в бороздах залитых огородов. За огородами тянулся ровный ряд куполообразных ветел, а еще дальше бурый кряж голой Поклонной горы. Вдоль берега стояли вереницы плотов с желтыми пятнами соломы и дымками костров, у которых грелись бабы в желтых, как соломенные кучи, армяках.

По берегу то к городу, то обратно к плотам сновали плотовщики, другие кучками стояли по лугу.

Некоторые кучки, круглые, делали странные движения: то поднимали вверх головы, то опускали их, то все вдруг, как по команде, наклонялись и садились на корточки, а затем опять вставали и опять смотрели в небо. «Избалован, ах избалован плотами народ, – думал Никита, глядя на берег. – А все из-за чего?.. Деньги, кажись, трудные, а вот не жаль… Вон они в орлянку-то играют. Ишь, головы-те задрали к небу, дождя просят. Круг-то человек тридцать. Кровные денежки проигрывают, проживают. И сам пропьешь… А все хозяева… Сейчас пригнали плот, не успеешь приканатиться хорошенько, ан хозяин с водкой, да нарочно стаканище-то норовит такой, чтобы руками не обхватить… Как не выпьешь? С мокрети да с устатку и хватишь… А как хватил – в глазах круги-круги пойдут, зеленые, желтые, красные, синие… Голова закружится – ну и пошло! Вот этот первый-то стакан отравы все наше горе и есть. А там и пошла и пошла! При расчете пьяного обочтут, в трактире тот хорош, другой лучше того, все тебя угощают, ты всех угощаешь, и деньги все! Мало того, по пьяному делу разуют-разденут люди-то добрые, да еще этапом домой ушлют: не путайся, безобразник, по городам, паши, скажут, свою полосу! А все отрава… И кажинный раз думаешь: ну ее к лысому, отраву-то – а как не выпить с устатку-то… обидится…»

Никита стоял, облокотившись на багор, смотрел на луг и бормотал.

– Дядя Никита, канатиться где будешь? – крикнули ему с оголовка.

Никита вздрогнул и огляделся.

– Вон пониже ветлы-то… Наляг, ребятки, наляг… Плот извивался и скрипел.

Иван отделился от гребцов и перешел на середину плота. Это был молодой, могучего сложения парень в одной рубахе, с расстегнутым, несмотря на свежую погоду, воротом, без шапки и босой. Он поднял толстую, с заостренным концом жердь, намотал на нее бечеву, остатки которой собрал кольцами на левую руку, и встал на край плота.

Гребцы усердно работали. Никита старательно то отводил багром, то притягивал к себе оголовок.

Плот приближался к берегу.

Еще несколько ударов весел, и он искривился. Его толкнуло снизу с такой силой, что все стоявшие на нем покачнулись.

Плотовщики бросили весла, схватили шесты и отталкивались ими от берега. Канатчик Иван с приколом в руках прыгнул в воду и окунулся до шеи. Двое других прыгнули за ним, и все трое быстро очутились на берегу.

Иван, распуская кольца бечевы по мере того, как от него удалялся плот, уносимый

быстрым течением, старался всадить острый конец прикола в землю, но прикол вырывало из рук и тащило вместе с Иваном и мужиками, помогавшими ему.

Наконец удалось-таки всадить прикол и забить его чекмарем. Плот остановился и стал извиваться, как змея, которой наступили на голову.

– Третью бечеву! Подтягивай третью…

– О-от так! Крепи ее! Крайнюю, проворней! – командовал Никита.

Веревки закреплены. Плот еще треснул раза три, заскрипели его канаты из березовых прутьев, и он остановился.

* * *

Плотовщики сошли на берег.

Их встретил толстый, как слон, хозяин и, не разгибая жирных, раздутых, как в водянке, пальцев, подал Никите руку.

– С прибытием! Блаапалушна?

– Слава богу… Без задоринки…

– Спасибо, Никитушка, спасибо… Сейчас с прибытием поздравим, а потом в трактир за расчетом.

– С прибытием-то и опосля, прежде бы рассчитаться, – нерешительно заговорил Никита, посматривая на четвертную водки, стоявшую на земле.

– Опосля! Нешто это водится, что ты, Никита Семеныч, тебе хорошо, а…

– А другим-то плохо нешто? Перво-наперво расчет, а там всяк за свои выпьет…

– Ты сухой, а вон Ивану-то каково… – указал хозяин на дрожащего Ивана, с которого ручьями лила мутная вода.

– Ваня, намок!

– Бог намочил, бог и высушит! – щелкал зубами канатчик.

– А ведь изнутри-то лучше погреться… Мишутка, наливай!

Мишутка, пятнадцатилетний сын дровяника, взял четвертную и налил чайный стакан.

– Кушай, Никита Семеныч…

– Пусть вон Ванька пьет, – аппетитно сплевывая, ответил Никита.

– Пей ты, порядок требует того…

– Пей, не морозь человека-то, – послышалось между плотовщиками.

– Пущай пьет… Нешто я причина… Пей, отравись…

– Какая отрава… Што ты… Сам выпью… – Хозяин взял стакан и отпил половину.

– Кушай ты теперь! – подал он Никите, закусывая густо насоленным хлебом.

– Пей поскореича, дядя Никита… Холодно ведь! – нетерпеливо крикнул Иван.

– Посудина уж больно велика… захмелею, – отнекивался Никита.

– Ничего, с устатку-то!..

– Со свиданием!

Никита залпом проглотил стакан, отломил хлеба и отошел в сторону.

Угощение продолжалось. Сначала выпил канатчик Иван, а за ним и остальные, кроме баб. Их хозяин и упросить не мог.

– Да ты пригубь, сколько можешь, Маланья.

– Не неволь: и рот поганить не буду. О празднике, живы-здоровы будем, выпьем уж.

Никита стоял поодаль и смотрел.

– Отрава проклятая, тьфу, как с голодухи-то забирючило… Вон он, народ-от, от нее, как тараканы, сонные по лугу путаются, а все отрава…

Он опять посмотрел на хозяина.

– Брюхо-то отрастил… вот бы в канатчики его на путинку, на другую, небось, стряс бы жир-то, ежели бы по-Ванькиному побегал! – добродушно улыбнулся Никита.

Ему представилось, что хозяин бежит босой за плотом, как вчера Ванька под Старой Рузой бежал: стали канатиться, а прикол-то у него вырвало, и Ванька версты четыре босой

по снегу да по заливам плот догонял. И сам Никита так же, как молод был, бегивал. Ловкий был, сильный. Канатчику надо быть сильным, а сгонщику умным, чтобы течение понимать и берег, где приканатиться, разуметь.

Картины прошлого одна за другой воскресали перед Никитой.

Посреди деревни стоит большая светлая изба с огородом, а за ним зеленые луга, желтые полосы ржи, березовая роща. От рощи двигается воз сена, двое ребятишек копошатся на возу, а лошадь ведет под уздцы рослый, краснощекий Васька, сын Никиты, а рядом с ним, в красном сарафане, с граблями на плечах, идет такая же рослая и красивая мать Васьки.

Неделю назад, когда Никита сел на плоты, он видел только одну мать Васькину, старую, сердитую. Березовой рощицы давно уж нет, изба почернела, соломенная крыша до половины за зиму скормлена хромому бурке и комолой буренке.

Скучно теперь в избе! На лавке сидит старуха, прядет и думает: загулял мой запивоха!.. А допрежь весело в избе было. Особенно весной. Малыши на проталинке в бабки играют, Васька из города, из извоза приедет на праздник. А теперь одна старуха в избе. Ребяток нет. Маленьких съела деревня, большого – город. Махонькие померли: от горла один, потом другой от живота летом. А на что уж знахарка Марковна старалась отходить, и кирпичиком толченым с наговором поила, и маслицем от чудотворцев мазала – ничего не помогло.

Васька – этот в городе пропал. Сперва почетливый был, покорный. В легковых извозчиках ездил, домой рублей пятнадцать, а то и двадцать на праздники-то подавал, а потом запил, в острог угодил, а там и помер. Долго тогда Никита о Ваське плакал. О том плакал, что город Ваську съел. Жил бы в деревне себе, при земле, оженился бы, а захотел погулять-попить – на то праздник есть… Плоты опять… нешто дело плоты? Ими сыт не будешь, плоты только хозяевам хлеб, а мужику разоренье одно… Мало кто домой привезет заработок с путины, – все деньги в московских трактирах остаются, разве бабы только да какой уж каменный мужик супротив соблазна устоит… А прежде все лучше было, народ построже был, да и хозяева не спаивали. Зачем на плоты мужик идет, коли они разоренье одно? – спрашивал себя Никита. – Зачем он сам, знает, что плоты разоренье, а сорок лет ходит? А затем, что издавна заведено было отцами да дедами на плотах ходить, так и тянет. Чуть весна – вся деревня на плоты, как праздника ждет, натосковавшись за зиму-то. А тут хлеба нет, корму скотине не хватило, а хозяин-дровяник уже объезжает деревню и задатки раздает… Картины, одна за другой, пестрой панорамой проходили перед Никитой.

А по реке шли плоты один за другим и канатились у берега.

У одного плота порвалась бечева и стащила в воду бабу, другой пристал к чужому плоту, порвал канаты, и хозяин испорченного плота с рабочими избил до полусмерти неосторожного канатчика, а плот унесло дальше и посадило на мель. Около разбитого плота, как из воды, вынырнули десятки мальчишек на своих легких душегубках и переловили унесенные течением дрова…

Толпа золоторотцев из «Аржановской крепости» прошла мимо Никиты наниматься выгружать дрова.

Эта толпа резко отделялась от толпы плотовщиков. При взгляде на серые, похожие одна на другую мужицкие фигуры в рваных полушубках и понитках, в шапках с торчавшими клочьями кудели и глубокими, добродушными, слезящимися глазами на серых лицах Никите вспоминались такие же серые, однообразные, с клочками соломы на крышах, с глубокими слезящимися в прорезах соломенных завалинок окнами деревенские избы… Видно было что-то родственное между теми и другими, будто одни родили других.

Толпа оборванных, грязных, зловещих золоторотцев в остатках пальто, пиджаков, опорках напомнила Никите трущобы города, куда он как-то ходил разыскивать запутавшегося в них Ваську. Их мрачные земляные лица, их грязные облезлые фигуры напомнили Никите виденные им дома с разбитыми стеклами, с почерневшей, отвалившейся сырой штукатуркой, зловонные, шумные…

Толпа золоторотцев шла быстро… Впереди шагал с темно-бурым, лоснящимся лицом здоровяк в жилете из когда-то дорогого бархатного ковра, в форменной фуражке и опорках,

привязанных веревками к оголенным по колено икрам. Остальная толпа с шумом шла за ним. За толпой, стараясь не отстать, торопился оборванец, высокий, худой, беловолосый, напоминавший всей фигурой тонконогий гриб, растущий в подвалах, и как раз сходство с этим грибом усиливала широкополая серая рваная шляпа.

Галденье толпы вывело Никиту из забытья, он осмотрелся кругом, встал и пошел в Дорогомиловский трактир за расчетом.

Дорогомилово гудело. По всей набережной, по лужам и грязи шлепали лаптями толпы сплавщиков, с котомками за плечами, пьяные. Двое стариков, обнявшись, возились в луже и, не обращая внимания на это видимое неудобство положения, обнимали друг друга за шею мокрыми грязными руками и целовались. Над самой водой, на откосе берега, раскинув крестом руки, лежал навзничь пожилой рыжий мужик в одной рубахе и в лаптях; пьяный плотовщик продавал еврею полушубок, против чего сильно восставала баба, со слезами на глазах умолявшая мужа не продавать шубы, и вместо ответа получала на каждое слово толчок наотмашь локтем в грудь и ответ: «Не встревай, дура! Ты кто?! А?» Мимо Никиты продребезжала пролетка с поднятым верхом, из-под которого виднелись лишь четыре ноги в лаптях и синих онучах, и одна из этих ног упиралась в спину извозчика.

Около трактира толпы народа становились гуще, плотовщики перемешивались с золоторотцами. Корявый, с топорным лицом городовой разговаривал с барином в шляпе и, указывая на толпу, презрительно говорил:

– Нешто люди? Необразованность, деревня…

Никита шел и то и дело встречал знакомых, с каждым останавливался, говорил. При входе в трактир ему встретился едва державшийся на ногах канатчик Иван.

– Ваня, жив? – окликнул его Никита.

– Ванька нигде не пропадет! – ответил тот и со всего размаха распластался на мостовой.

В трактире с низкими закопченными сводами пахло прелым полушубком и сивухой. Все столы, стулья, скамьи были заняты всклоченными мужиками в рубахах, пол завален сумками, столы заставлены чайной посудой, бутылками; стоял такой гомон от сотен голосов, стуканья посуды и звона медяков, что отдельных голосов нельзя было разобрать. Направо от входа за столом толстый хозяин раскладывал бумажные рубли, покрытые медяками, на кучки и отодвигал каждую кучку к окружавшим стол плотовщикам.

Никита получил свою долю, и на столе появился чай» баранки и четверть вина…

Вечерело. Над рекой опустилась беловатая дымка тумана, заморосил мелкий, как из сита, скорее похожий на осенний, дождь. Половые в белых рубахах, бесцеремонно расталкивая охмелевшие, кудлатые головы, опущенные бессильно на стол посреди зала, становились между этими головами на колена, чиркали серные спички о широкие спины плотовщиков и зажигали лампы. Спичка, случайно, а может быть, из шалости брошенная половым, попала в рыжую курчавую голову, вспыхнуло несколько волосков, но обладатель головы провел по волосам заскорузлой рукой, потушил пожар и, как не его дело, продолжал спать.

Никита, согнувшийся, обрюзглый, с затуманенными глазами, колотил кулаком по столу и ораторствовал:

– И ругается… Пущай ругается… Бить нас мало… Бить мало.

– А ежели порядок такой? – возражает ему его толстый хозяин.

– Бить… За порядок и бить… Сорок годов хожу на плотах, ты еще мальчонком эконьким бегал, а теперь и пузо отрастил и…

– Благодать господня…

– Нет, ты ногу покажи…

Хозяин выставил чищеный сапог в высокой калоше.

– А это что? А? Оттого ты и пузо отрастил, от жадности… С того пятак, с того пятак – вот и пузо и нога… Нешто это нога хрестьянина… От жадности полтора сапога надето… – сказал Никита, указывая на сапоги с калошами.

– Кешка, брось! А ты выпей лучше… Хозяин налил стакан.

– Отравы-то?.. Вот кабы не эта отрава-то, так где бы ты полтора сапога взял? Сорок годов на плотах хожу, чугунки не было, по Можайке мы хаживали еще, ассигнациями получали и домой носили… А потому отравы не было и полтора сапога не видали…

Никита выпил залпом стакан и понюхал кусок кренделя.

– Бить нас надо за отраву-то… Вот бабы – во у кого учиться… Сердешная калачика не купит, все домой несет, а отчего? Потому отравы не знает… Верно я говорю? – говорил Никита коснеющим языком.

– Верно.

Хозяин встал и пошел к буфету.

Никита выбросил на стол четыре рублевые бумажки и немного меди и крикнул:

– Вишь денег колько? Еще полуштоф – живо!

На стул, с которого встал хозяин, сел золоторотец.

– Друг, верно я говорю – бить надо.

– Верно, – соглашается тот, косясь на деньги.

– А коли верно, значит, выпьем…

– Угостите, коли милость будет…

– И угощу… Ежели я недели мокнул, ежели я свое дело справил, значит… Покажи ногу!

Золоторотец конфузливо выдвинул из-под стола рваный, грязный лапоть.

– Где полтора сапога… А? – Никита потянулся к ноге золоторотца, стараясь схватить ее руками, и упал под стол. Золоторотец бросил свою рваную шапку на стол, прикрыл ею рублевки, огляделся, взял шапку вместе с деньгами и исчез в дверь…

## Воля покойного

Федот Ильич не был человеком с характером, как это казалось его окружающим, – он просто обладал упорством несокрушимым.

– Что заладил, тому и быть!

А заладил он после смерти своей жены, что духовного завещания никогда составлять не будет и что все его состояние должно перейти только законному наследнику.

– Воля моя непреклонна! – любил он повторять в беседах с друзьями.

С единственным сыном у него были не то лады, а не то нелады. Сын, многосемейный работник, ушел после женитьбы от отца и вел свое небольшое дело.

Между отцом и сыном стояли капиталы первого, но все-таки они взаимно любили друг друга. Как-то, последние дни, отец даже был у сына в гостях на даче и говорил:

– Вот рай истинный! – И ласкал внучат.

Одиноко жил он, видаясь изредка с двумя-тремя стариками, приятелями далекой юности, да окруженный разными бедными родственницами, а иногда проходимцами разных полетов, охотившимися за его капиталами, нажитыми упорным, честным трудом ремесленника и приумноженными старческой скупостью.

Но кремень был старик, деньги держал в бумагах, нисколько не интересовался последним падением курса, а видел только одну наличность: резал купоны и приобретал на них новые и новые бумаги, да еще радовался, что рента стала дешевле, а купоны все то же стоят. О будущем не думал, наличность ощущал, по привычке экономил до скаредности и не понимал, что у человека могут быть иные потребности.

– Квартирка тепленькая, одежа-обужа есть, на рюмочку хватает – чего еще?! Не биться, не колотиться и на поклон к людям не ходить!

Был у него в давние времена приятель – поп старый, его прихода, – да умер. Бессребреник поп!

А на его место поставили молодого, новой формации, обделистого, из ходовых, отца Евсея. Этот и попечительство, и церковные школы, обо всем старается и всеми способами.

Так и мечется по приходу, особенно по богатеньким да по вдовам-старушкам.

Вечером ко вдове, утром ко владыке.

– Ваше преосвященство! Еще жертвовательницу боголюбивую нашел на благоустройство приюта вашего имени, дозвольте вам представить.

– Отрадно, отрадно. Что же, веди!

А от владыки ко вдове едет, и под широкополой шляпой волосы встают в ожидании, что на них скоро камилавка залиловеет…

Долго он и за Федотом Ильичом неотступно ухаживал. Чувствует старик это приставание, а возразить не в силах, будто загипнотизирован.

– Владыка вас, любезнейший Федот Ильич, самолично желает видеть, наслышан, что искра божья теплится у вас в груди, и заглушать ее не следует… Года-то ваши, года-то…

Потом вскидывал руки к небу и начинал описывать прелести рая.

– Сколь прекрасен рай-то, сколь он великолепен! Благорастворение воздухов, блаженство праведных, плоды…

– А рябина растет там, в раю-то? – совершенно серьезно спросил его Федот Ильич как-то, и надолго прекратились разговоры о рае.

Засосал его поп! Чувствует старик, что сил нет избавиться ох него, и даже уже не тем голосом начал повторять свое любимое:

– Моя воля непреклонна!..

А поп все пути в царство божье указывает, говорит о верблюде, который скорее пройдет в игольное ушко, чем богатый в царство небесное.

Федот Ильич даже нарочно ходил в зоологический сад смотреть верблюда и попу об этом рассказал, а тот опять свое, и медаль на шею золотую примеривал, и о меню обеда у владыки рассказывал. Замучил старика.

Стал он пропадать из дома с утра, а вечером, если встретит его поп в переулке, прямо в трактир спасался, зная, что духовной особе туда идти не подобает.

Наконец извелся до того, что свой дом, насиженное гнездышко, наскоро продал и на другой конец города из своего прихода переехал.

А поп на другой день поздравить с новосельем препожаловал, пирог принес.

– Матушка испекла!

И рябиновки посудину из-под рясы вынул и на стол:

– Матушка настояла… два года для вас выдерживала! А там еще в запасе в чулане есть!..

Не устоял старик против любимой рябиновки! Сидят за графинчиком и беседуют.

– Семьдесят-то годков есть?

– Восемьдесят, батюшка, восемьдесят сегодня минуло!

– С днем рождения! Вот не знал, вот в какой счастливый день привел господь… Ну, помолимся…

И опять за рябиновку.

– Да, года большие… Все под богом ходим… А завещаньице-то есть?

– Зачем? У меня законный наследник есть… Сын…

– Так оно… Только нонешние, знаете, люди-то… О душе пещись надо… Рай-то, рай-то какой! Блаженство, плоды всякие, рябина-то во-о какая…

Старик сидел, клевал носом и шептал:

– Моя воля непреклонна… Рябина моя… я…

Каждый день то с пирожком, то с рыжичками…

Еще четверть принес…

Пришлось послать за доктором. Прописали лекарство, диету, ежедневную прогулку. В это время, отрезвившись, старик к сыну на дачу съездил денька на два. Приезжает домой, а письмо от попа на столе. Все о том же, да еще с прибавлением, что владыка хочет с ним познакомиться.

Не велел старик попа принимать, а он к нему с просвиркой пришел врасплох и

черновичок духовного завещания набело переписанный принес.

Соловьем залетным пел ему священник; всю элоквенцию семинарскую в ход пустил, чокаясь стаканчиками до позднего вечера, и уговорил, наконец, на другой день к нотариусу…

А сам уж и домик подыскал для школы, и процент изрядный за продажу с домовладельца выговорил.

Проснулся старик рано, с головной болью, одышка, глаза не смотрят. Приказал подать парадный сюртук, часы надел золотые, что делал только в самые торжественные дни, и сел за чай.

Налил из стакана в блюдечко, долго дул, сделал глоток, да и встал из-за стола. Вынул из кармана черновик завещания, развернул его, опять положил в карман и крикнул кухарку:

– Дай-ка пальто! Ежели кто спрашивать будет, скажи, к нотариусу пошел.

– Ладно, батюшка Федот Ильич, сталоть, к… как его?

– К нотари-у-су! – протянул старик.

– К мат… мат…

– Ну да, к мат… мат… молчи уж, скажи, что по делам ушел… Давай-ка новое пальто!

Оделся, стал застегиваться, да и закашлялся. Потом оправился, ощупал карман, посмотрел, тут ли бумага с завещанием, и начал надевать калоши.

Сапоги были новые, и калоши лезли плохо. Старался, кряхтел, топал, – наконец пришлось нагнуться, поправить калошу рукой. Нагнулся. Голова закружилась. В глазах потемнело.

У владельца дома для поминовений был обычай никогда не топить свои громадные палаты.

– Народом нагреется, ко второму блюду еще жарко будет! – говаривал он гостям.

– Да ведь ноги замерзли!

– А вы валеночки, валеночки надевайте… Эй, свицар, принеси-ка ихные калошки!..

И кто послушался хозяина, чувствовал себя прекрасно.

Еще за молчаливыми блинами со свежей икрой, вместе с постукиванием ножей о тарелки, слышался непрерывный топот, напоминавший, если закрыть глаза, не то бочарное заведение, не то конюшню с деревянным полом.

И наследник, поместившийся на почетном месте, против духовенства, усердно подливавший вино, изредка тоже притопывал.

– Во благовремении и при такой низкой температуре оно на пользу организму послужить должно! – басил, прикрякивая, протодиакон, отправляя чайный стакан водки в свой губастый, огромный рот. Он заметно раскраснелся и весело развязал язык.

– А то давеча за закуской хозяин рюмочку с наперсток так наливает и говорит: «Отец протодиакон, пожалуйте с морозцу…» Это мне-то да наперсток!..

– Это верно-с, отец протодиакон, маловата для вас посудина одноногая.

– Конечно. Я и говорю ему: не протодиаконская эта посудина и не протодиакону из нее пить, а воробья причащать!.. Ну, и, конечно, стаканчик… Пожалуйте-ка сюда вон энту мадерцу.

– А вот покойный рябиновочку обожал… Помянем душу усопшего рябиновочкой… Отец Евсей, пожалуйте по единой! – предложил церковный староста, друг покойного.

– Нет, уж я вот кагорцу… Я не любитель этой настойки. Виноградное – оно легче… – И чокнулся с наследником. А потом потянулся через стол к нему, сделал руки рупором и зашептал:

– Воля покойного была насчет постройки церковноприходской школы и приюта для церковнослужителей… Завещаньице уж было готово, и я избран душеприказчиком. Вы изволили ознакомиться с завещаньицем?

– Да, читал… Не угодно ли рябиновочки? Позволите налить?

– Я кагорцу.

– А я вот рябиновочки. Она лучше, натуральнее, и притом наша русская, отец Евсей.

– Не любитель я… Виноградное больше… У владыки всегда виноградное за трапезой, я и приобык…

– А ведь рябиновочку тоже вы, Маланья кухарка мне сказывала, любили с отцом пить…

– Конечно, попивал, но так, для компании… а я виноградное.

– Вот лисабончику пожалуйте.

Когда обносили кисель, топот прекратился, резкое чоканье стаканов прорезало глухой шум трехсот голосов, изредка покрываемых раскатистым хохотом протодиакона, а отец Евсей под шумок старался овладеть вниманием наследника и сладко пел ему о пользе церковноприходских школ и святой обязанности неукоснительного исполнения воли покойного.

Прислушивался незаметно к этим речам церковный староста, и умный старик посматривал на наследника, которого еще ребенком на руках носил и с которым дружил и до последнего времени.

– Так как же-с, что изволите сказать на мои слова, Иван Федотович: благожелательно вам будет исполнить валю вашего батюшки?.. Конечно, можно за это через владыку удостоиться и почетного звания, и даже ордена…

«Тут не пообедаешь!» – улыбнулся про себя церковный староста.

– А вы бы рябиновочки, отец Евсей… Давайте-ка по рюмочке… Помянем отца!..

– Я бы хереску…

– Нет, уж сделайте одолжение, рябиновочки со мной выпьем.

– Ежели уж такова ваша воля, – наливайте!

Выпили.

И опять ладони рупором, и опять разговор. Отец Евсей раскраснелся от выпитого, глаза его горели, голос звучал требовательно.

Наследник молчал и крутил ус.

– Ну-с, так позвольте узнать решительный ответ: угодно вам исполнить волю…

Но он не договорил.

Задвигались стулья. Протодиакон провозглашал вечную память.

– Ве-е-е-чная па-а-мять… Ве-е-еч-на-я па-а…

– Еще раз и последний беспокою вас, благоволите ответить, – нагнулся через стол отец Евсей.

– Извольте… Мы с моим покойным отцом относительно церковноприходских школ совершенно разных воззрений, и полученное мною по закону наследство я употреблю по своему усмотрению.

– Позвольте, – а воля покойного? Ведь ваш батюшка имел уже в кармане черновик духовного завещания и скончался, как вам известно, скоропостижно, надевая уже калоши, от разрыва сердца…

– Да… да… К сожалению, я знаю…

– И конечно, исполните волю вашего батюшки для успокоения его души?

– Я вам говорил уже, что на этот предмет я совершенно другого взгляда и на церковноприходские школы не дам ни копейки.

– То есть, как же это?..

– Да так, ни ко-пей-ки! Считаю наш разговор оконченным. А теперь помолимся.

– Ве-ечная память… ве-ечная память… – гремело по зале.

Отец Евсей сверкнул глазами и, сделав молитвенное лицо, начал подтягивать протодиакону.

– Однако! – сорвалось у него на половине недопетой им ноты.

И еще раз повторил он:

– Однако!

## Час «на дне»

Посмотрев пьесу Горького, я вздумал вчера подновить впечатление.

Был сырой, туманный вечер.

Особенно ужасны такие туманные, сырые вечера в ночлежных домах, битком набитых бродячим народом, вернувшимся кто с поденщины, кто «с фарта» в мокрой обуви и сыром платье. Все это преет, дает удушливый пар – дышать нечем!

И вот я в центре Хитровки, в доме Кулакова с его рядом флигелей на обширном дворе, напоминающем двор 3-го акта пьесы Горького.

Спускаюсь вниз, в подвальный коридор-катакомбу среднего флигеля.

Направо и налево крепкие двери с обозначением нумеров и количества ночлежников.

Общие камеры.

Отворяю дверь.

Сквозь туман видны разметавшиеся фигуры, нары по обеим сторонам с расположившимися ночлежниками и уходящие вглубь высокие, крутые своды, напоминающие тюрьмы инквизиции.

Точь-в-точь такие же, какие видел я накануне на сцене Художественного театра.

Только здесь они чище: выбелены начисто.

Совсем не то, что я видел здесь лет 20 тому назад, когда этот дом принадлежал Ромейко.

Тогда вот была трущоба!

Освещенные теперь, коридоры тогда были полны непроглядного мрака, изломанные лестницы носили на себе следы крови…

Из того времени мне вспомнился случай в этом доме, пришедший мне на память во время третьего акта «На дне», когда Васька Пепел убил мужа Василисы.

Я был тогда репортером и, собирая материал, часто бывал на Хитровке. Я сидел в трактире «Каторга» в доме Ярошенко.

В «Каторгу» вошел оборванец и громко заявил:

– В Ромейкином доме кого-то… пришили… за приставом побежали.

Тогда несколько человек поторопились рассчитаться с половыми и вышли.

Первый выбежал сидевший ко мне спиной рыжий здоровяк с нахлобученной шапкой, из-под которой все-таки просвечивала кожа, на одной стороне головы не успевшая еще обрасти волосами.

– Беги уж, зеленые ноги, я отдам! – улыбнулась его дама сердца и выбросила на стол трешницу.

Я стремглав бросился в дом Ромейко.

В квартире второго этажа, куда я насилу пробился сквозь толпу в коридоре, окруженный ночлежниками, лежал в луже крови человек в одной рубашке, лицом книзу. Под левой лопаткой торчал нож, всаженный до рукоятки. Никогда и не видел таких ножей: из тела торчала большая, красной меди, ручка причудливой формы.

Убитый был «кот». Скрывшийся убийца – мститель за женщину. Его так и не нашли.

Пока я собирал нужные для газеты сведения, явился пристав с околоточным, осмотрел труп и приступил к составлению протокола.

Когда я во время дознания подошел вместе с приставом к трупу – ножа уже не было.

– Где нож? Нож где? – засуетилась полиция.

– Я сам его видел! Сам! – горячился покойный г. Севенард, вообще хладнокровный, опытный полицейский.

После немалых поисков нож нашелся: его во время суматохи успел вытащить пьянчужка портной и заложил за полбутылки в соседнем кабаке.

Ужасен был дом Ромейко в то время и ужасен был весь Хитров рынок с его трущобами невообразимыми, по сравнению с которыми его современные ночлежки – салоны!

Теперь вокруг громадной Хитровской площади разбросаны чайные лавки с чайной попечительства трезвости во главе – а тогда в домах, окружающих площадь, были три

трактира с меткими названиями, придуманными обитателями трущоб.

Сброд и рабочий люд собирались в «Пересыльном»; нищие и мелкие воры – в «Сибири», а беглые, разбойники и «коты» со своими сюжетами – в «Каторге».

Последняя помещалась в доме Ярошенко, в нижнем этаже, где сейчас находятся чайная и закусочная.

– Бог приведи увидеться в «Каторге»! – прощались арестанты в московской пересыльной тюрьме. И это не была шутка – это назначалось свидание в трактире «Каторга», этой бирже беглых арестантов.

В «Каторге» сыщики узнавали о появлении в Москве беглых из Сибири и уже после выслеживали их логово. В «Каторге», за этими столиками, покрытыми тряпками, обсуждались планы краж и разбоев, в «Каторге» «тырбанили слом» и пропивали после дележа добычу вместе с «тетками».

Счастливым ворам, успевшим «сторговать» и швыряющим награбленные и наворованные деньги, «коты» приводили своих «сюжетов» и вместе с последними обирали воров.

«Котов» особенно много бывало в «Каторге», да масса их на Хитровке и теперь.

Это или разудалые «Иваны», поработившие своих слабохарактерных возлюбленных, или злополучные типы, вроде облезлого барона, которых держат «так, для чучелы», более энергичные «дамы», удовлетворяющие этим и свое самолюбие, сознавая, что и хуже их люди есть.

– Как червяк в яблоке живешь! – говорила Настя своему Барону.

А Барон пускал ее в оборот и позорно существовал на счет несчастнейшего существа? Чего ему еще?

А вот и обратно.

В 1885 году в Павловской больнице умерла княжна Т-ева.

В первый раз я ее встретил в «Каторге».

«Котом» у нее был пьяница-певчий, бивший несчастную, если она ему приносила мало денег на игру в карты…

В то время княжна, вечно пьяная и избитая, уже потеряла облик человеческий.

Я обратил на нее внимание в «Каторге», когда она, совершенно пьяная, плакала и произносила целые монологи на французском языке с чисто парижским выговором…

Рубикон человеческий она уже перешла и принадлежала бесповоротно трущобе…

Так и умерла, несчастная, привезенная в Москву соблазнившим ее франтом и по обычным ступеням опустившаяся на дно болота, в засасывающий, зловонный ил, откуда нет возврата…

Ужасен был тогда Хитров рынок!

Теперь не то. И кабаков нет, и трактиры закрыты, и «кубические футы» воздуха соблюдаются, все выбелено, вычищено, освещено, и обходы полицейские часты.

Ужасная вещь эти обходы!

Измученные, усталые за день на поденщине или голодные, не добывшие ничего, люди кое-как разлягутся на нарах, и под нарами, и наслаждаются единственным своим счастьем – сном…

И вдруг – облава.

Сотни полицейских окружают ночлежные дома, становятся у выходов квартир, смотрят паспорта, делают перекличку.

Целая бессонная, тревожная ночь…

А какой ужас для тех, у кого нет паспортов!

Если вовремя явится «стрема», крикнет кто-нибудь предупреждающее о полиции условное «двадцать шесть»!

Беспаспортные выскакивают на улицу, на двор, лезут по обледенелым водосточным трубам на крышу, где все время обхода, в надежде спастись, лежат, прижавшись к трубе, на покрытой снегом крыше, ежеминутно рискуя упасть и разбиться вдребезги…

Но полиция знает, что если люди лезут на крышу, то имеют на это основательные причины…

– Эй, голуби, слетайте вниз! – раздается энергичное приказание, и гимнастика с риском пропадает даром…

И в ночь на вчерашнее число, как раз в тот момент, когда мы смотрели «На дне» в Художественном театре, с крыш домов Хитрова рынка снимали «голубей»…

В эту ночь был обход, результатом которого был арест почти тысячи беспаспортных бездомников.

Всю ночь работала полиция, разводя этих полуголодных, полураздетых по участкам и направляя толпы иногородних беспаспортников в пересыльную тюрьму, для рассылки по месту приписки.

Удостоверенные московские мещане и ремесленники явятся на другой же день на Хитров рынок, а остальные из своих губерний вернутся сюда же, через день, два, смотря по расстоянию…

Многие отправлены в работный дом, откуда тоже многие немедленно вернутся в ночлежки…

И так без конца!

В числе забираемых облавой масса административно высланных, которым запрещено жить в столичных губерниях. Большинством из этих выбирается ближайшая к Москве губерния, особенно Зарайский уезд.

Заберут десяток таких субъектов, отправят в пересыльную тюрьму, препроводят оттуда этапом в Зарайск, явятся они в Зарайске в полицию.

– Пришли? – спросят.

– Пришли! – ответят. Запишут их в полиции и скажут!

– Ступайте!

Глухой, злополучный городишко этот Зарайск. Копейки в нем заработать нельзя.

И в перспективе у высланных или умереть с голоду, так как работы нет, или замерзнуть в снегу, так как ночевать негде, то и направляются они снова в Москву, на свой Хитров рынок.

А в Москве можно и украсть, и «пострелять» милостыньку, и ночевать в ночлежке…

Куда им больше деваться? Что делать? Паспорта у них волчьи: ни тебе квартиры, ни тебе ночлега!..

Зимой – ночлежный дом, кража и милостыня…

А летом – «заячьи номера» в лесу: каждый кустик ночевать пустит…

Или новое преступление, чтобы снова судиться, судиться до тех пор, пока, наконец, не сошлют в каторгу…

А там надежда на побег…

И при счастливом случае опять трущобы Хитрова рынка!..

Но есть там и постоянные жители, чувствующие себя как дома.

Это люди, имеющие при себе кусок спасительной бумажки, называемой – паспорт…

Я помню, тоже лет двадцать назад, в доме Буниных, на Хитровом рынке, в подвальной квартире, трущобе ужаснейшей, жил старик, его звали, и сам он себя звал, поручик Соломка. Он благодетельствовал, делая паспорта, и за каждый паспорт у него была такса, а именно: плакат – 3 рубля, вечность (вечный паспорт) – 4 рубля, а с заслугами и орденами – 5 рублей. Так все и знали цену, и покупателей было не мало! Есть «Соломки», конечно, и теперь. Без Соломок Хитровке нельзя. Но раньше все было открыто. Теперь время «хитрее» и труднее.

Безопаснее всех, конечно, на Хитровом рынке нищим: и документы в порядке, и полиции известны, и ни на какое преступление не пойдут, да и незачем. Заработок хороший! Утром на паперти, днем – по купечеству, а к вечеру дома гуляют.

Просящие же по вечерам – это уже неудачники, которые ничего не зашибли днем.

Да еще безопасно живут симпатичные труженики – переписчики пьес и ролей для театральных библиотек и антрепренеров.

Тяжелый труд – и всегда экстренный. Принесут вечером пьесу, чтоб к утру были роли расписаны.

Вокруг немудрого стола с закоптевшей лампой садятся переписчики и строчат, не отрываясь, день и ночь.

Вчера мы посетили и переписчиков. Давно они живут все в одном и том же нумере дома Ярошенко, в третьем этаже, в отдельной каморке при ночлежном доме. Мы застали их за экстренною работой: какую-то пьесу расписывают. Копеек по сорок за всю ночь заработают на человека. А утром снарядят одного из своих, кто обует, кто оденет, кто шайку даст – с миру по нитке – и отправят к заказчику с работой и за деньгами.

Прокормятся ими, пока кто еще работы не даст.

Плата – 50 копеек с акта, за переписку всех ролей. Театр, который так заступается за младшего брата, так его и эксплуатирует! Какая ирония…

Здесь я встретил старого знакомого К., писавшего кой-какие статейки в журналах.

Яко наг, яко благ!

– Откуда?

– Только что вернулся. Уходил из Москвы, побывал в Малороссии, прошел в Тифлис, в Баку, затем перебрался в Одессу, а оттуда – билет градоначальник дал – вернулся в свою родную Белокаменную, и вот, как видите!..

Увидал я тут и старика грибника с женой, старого знакомого. Давно живет на Хитровом, зимой поденщиной занимается, а летом – за грибами ходит.

– Бьюсь, – говорит, – бьюсь! Прямо голодаем! Работы недостает, снегу мало – в неделю только два дня работать приходится… Вот вчера пятиалтынный во весь день заработал, – кормись с женой чем хочешь… Как до лета дотянуть, не знаю!

– Ну, а летом?

– Господи! Летом?.. А за ягодками, за грибками… Тепло, зелень, птички поют!.. И не говорите… Долго еще… Доживем ли!

А сам чуть не плачет.

И все эти люди на дне, бесповоротно на дне. И выхода им нет.

Затягивает это дно, эта густая тина, эта атмосфера трущобы, эта голодная и холодная «воля».

Эти люди, не ужившиеся с условиями жизни, эти несчастные, загнанные сюда обстоятельствами, приживаются здесь.

Здесь воля, независимость друг от друга, полная равноправность всех платящих свой пятак за ночлег делает трущобу терпимой.

А потом и привычка.

Если такой человек уже отрущобился – его ничем не вытянешь со дна.

И с хорошего места уйдет, а не то, что сбежит из непривлекательного работного дома.

А после вчерашней облавы работный дом сильно переполнится.

Все забранные на Хитровке женщины делятся строго только на две части: одна идет в больницу, другая – работный дом.

А там заработок… три копейки в день за мытье полов, а пятак – за стирку.

И хлебом хоть и отвратительно, но кормят – только воли нет.

Посмотрел бы я Настю, из пьесы Горького, в работном доме!

Или Сатина.

Или Барона…

Первые двое, наверно бы, бежали.

А последний скорей бы других ужился там, метя мостовые и вспоминая кареты с гербами предков.

## Тайна одного привидения

Московские спириты не на шутку взволнованы известиями о таинственных явлениях в

имении Федора Ивановича Шаляпина, находящемся невдалеке от Ростова-Ярославского.

Собираются, заседают, разговаривают и выбрали комиссию медиумов, собирающихся на днях отправиться на место таинственного происшествия, которое, как они надеются, прольет свет на неведомые горизонты загробного мира и обогатит спиритическую литературу новым, ярким фактом, о чем уже сообщено в заграничные кружки спиритов с предложением прибыть на место и лично проверить неведомое. В бульварных московских газетах уже появилось об этом известие, произведшее сенсацию. Его перепечатали в Петербурге.

Во вторник встречаю художника Константина Алексеевича Коровина.

– Еду, брат, сегодня прокатиться на север, устал! – сказал он мне.

– Чудеса творил с Шаляпиным? Это, действительно, дело нелегкое!

– А ты догадался?

– Конечно. Теперь такими чудесами разве только черносотенца полуграмотного удивишь или сумасшедшего спирита…

– А ведь напечатали же! Да еще сколько разговору везде – спириты ликуют!

– Кто же, Шаляпин отличился?

– Шаляпин. А ловко сделано! В числе гостей у него был один спирит. Мы и задумали подшутить. Начали говорить о привидениях, распустили слух, что на соседнем кургане ровно в полночь появляется привидение-» женщина в белом, создали целую легенду; один из местных жителей, Иван, наговорил ему ужасов, – и пошло дело! Этой тайной окружили только одного спирита. В темную ночь мы все отправились к кургану и невдалеке сели. Ждем, шутим:

– Какие там привидения! Ерунда!

Только Шаляпин серьезничает и говорит, что он верит. Решили подождать полночи и потом уходить. А сами внаем, что ровно в полночь привидение появится, и заранее сговорились, что будем делать. Первым делом при появлении его все должны отказываться, что мы ничего не видим, и опровергать спирита, который должен его видеть один.

Вот и полночь. На вершине кургана засинелся огонек. Это Иван, которому поручена была роль привидения, зажег кусочки сухого спирта.

– Смотрите, синий огонь! – испуганно сказал спирит.

– Где? Мы ничего не видим…

– Как?! Да на кургане… Адский пламень.

– Да это тебе кажется! – смеемся мы.

– Огонь… Огонь… Я вижу… Привидение! Женщина в белом!.. – вскричал он.

Действительно, в это время Иван, закутанный в простыню, встал над курганом и тихо двигался.

– Врешь, это тебе кажется.

– Вот она! Вот!.. – Голос его дрожит от страха.

– О, ужас! Это она! Я узнаю ее… Это она меня зовет… Не пойду… Боюсь… Это ты… Зачем, зачем ты пришла!.. – трагическим голосом завопил Шаляпин и в ужасе бросился бежать. Мы все за ним. Спирит с воплями мчался впереди нас. За ним Шаляпин, а за ними Иван с простыней под мышкой.

И эту комедию мы повторили два раза. Спирит уехал в полной уверенности совершившегося факта и разнес это по спиритическим кружкам Москвы. Его подхватили некоторые бульварные газеты. Уверовали многие любители чудесного и таинственного. Простите, гг. спириты, что я разрушил ваши надежды. Времена чудес давно прошли. Привидения упразднены.

## Из репортерства

Были в те времена в Москве беспризорные и безнадзорные ребята, которые ночевали на чердаках, в помойках, в водосточных трубах, воровали с лотков и поездушничали, то есть по

вечерам выхватывали с экипажей у едущих на вокзал пассажиров вещи или вырывали сумочки у дам и бесследно исчезали в столичной темноте.

Была и совсем мелкота, которая являлась по ночам в полицейские участки, и их оставлял дежурный переночевать, а какой-нибудь сторож и кусок хлеба сунет.

Были тогда богачи. Укажу на одного, о котором придется говорить в этом рассказе, – это бакинский нефтепромышленник Шамси-Асадулаев, который владел роскошно отделанным домом на Воздвиженке, где теперь помещается «Крестьянская газета».

Шамси – бывший простой носильщик в Бакинском порту – оказался владельцем участка, в котором забили нефтяные фонтаны, и в один год сделался миллионером. Потом переселился в Москву, женился на русской, некоей Марье Петровне, особе еще молодой, высокого роста, весьма дородной и знавшей, как пожить. Она одевала своего старого азиата в черный сюртук, в котором он молча и встречал гостей на беспрерывных пирах в своем новом дворце.

А в Баку у него осталась семья, взрослые красавцы сыновья и жена.

Конечно, семья была против этой женитьбы и жаждала мщения. Постановили убить и жену и самого Шамси.

Вот тут-то мне и пришлось совершенно случайно вмешаться в это дело.

Началось с того, что, присутствуя по какому-то крупному делу в окружном суде для газетного отчета, я попал «под суд».

Попасть «под суд» – тогда обозначало спуститься в нижний этаж здания суда, где был буфет.

Во время перерыва заседания я вхожу в буфет и вижу: за угловым столиком одиноко сидит знаменитый адвокат, мой добрый приятель – Ф. Н. Плевако. По воскресеньям я нередко бывал у него на пироге в его доме на Новинском бульваре…

Сидит задумавшись, опустил свое огромное четырехугольное, калмыцкого типа, лицо на ладонь левой руки в самой задумчивой позе – и, увидав меня, пригласил за свой стол.

Мне подали завтрак, а он все молчит и хмурит брови.

– Вы что это, Федор Никифорович, задумались так?..

– Н-да, задумаешься! Ну, хорошо, я вам расскажу, только беру с вас слово не печатать этого в газетах… Я говорю с вами не как с корреспондентом, а как с добрым знакомым. Второй день мучаюсь – а ничего не могу придумать. Вы, конечно, знаете Асадулаева?

– Никогда в жизни не видел, а знаю, что есть такой богач-нефтяник Шамси-Асадулаев.

– Он самый. Ну слушайте же.

И рассказал мне Плевако, что к нему обратился Шамси с просьбой спасти ему жизнь, рассказал свое семейное положение и охоту за ним родственников, что уже одно покушение было на его русскую жену и на днях убьют и ее и его наверное. Цель у них, конечно, получить наследство. Причем они предупреждают, что если он переведет состояние на жену, то ее убьют тоже. Обращаться к прокурору, в полицию – ничего не выйдет! Шамси с ума сходит, не знает, что делать… и я тоже не знаю.

– А Шамси перевел состояние на жену?

– Нет… Он боится переводить… А главное, боится, что его убьют и тогда наследство перевдет к его семье… Как тут быть?

– Да очень просто, – говорю. – Пусть он составит духовное завещание.

– Да уж составлено – половину той семье, половину жене…

– Это знает старая семья?

– Ну за это и убить хотят.

– Так вот, Федор Никифорович, пусть завещание это останется без изменения, только прибавьте одну стрючку: в случае насильственной моей смерти и жены все мое состояние перейдет целиком на дела благотворительности. И уведомить об этом семью!

– Пожалуйте, сейчас суд войдет, публика уже в зале, торопитесь, – подбежал ко мне курьер.

Плевако хлопнул себя по лбу. Глаза его сверкали.

– И как не додумался я.

– Извините, бегу, боюсь опоздать.

Плевако мне что-то кричал вслед, а я мчался по узенькой лестнице вверх.

Как-то появилась заметка в газетах о беспризорных, ночующих по участкам. Образовалось общество «защиты беспризорных детей». Во главе стояла жена градоначальника, что привлекло массу московских богатеев, и дело пошло: стали открываться приюты, школы беспризорных. Печать заговорила сочувственно. «Русское слово» меня просило дать отчет об одном важном заседании общества в зале дома градоначальника, куда я успел попасть только к десяти часам, прямо из балета, во фраке. Я прибыл к концу заседания, на котором только что выбрали в почетные члены Асадулаеву, пожертвовавшую какую-то очень крупную сумму на новый приют. Ее поздравляли – и она приглашала по своему выбору человек двадцать особо почетных членов сейчас же ехать к ней на ужин. Меня кто-то представил ей, и через полчаса я входил в яркий зал, с огромным столом, сверкавшим серебром и хрусталем.

Я, проголодавшийся, набросился на зернистую икру, балыки, горячие закуски и пропускал рюмку за рюмкой. Сам Шамси всем молча кланялся и угощал, как умел, полный радушия. Блестящая Марья Петровна тоже. Около нее помогали ей молодые люди в черкесках с золотыми украшениями. Это были сыновья и родственники Шамси, сразу помирившиеся после нового духовного завещания, жившие уже в Москве у Асадулаевых – лучшие их защитники!

И вот, благодаря беспризорным, я лакомлюсь деликатесами и чудными винами в ожидании роскошного ужина…

Но не пришлось поужинать! Почти рядом со мной стоял и закусывал градоначальник. К нему быстро подбежал чиновник особых поручений и шепчет ему:

– Пожалуйте к телефону… Что-то ужасное… Сейчас на Лосиноостровской идет бой с анархистами… Есть убитые…

И оба исчезли к телефону в приемную. Я за ними. Телефон рядом с дверью в пустой коридор. Притворил дверь, слушаю.

– Что? Кто убит?.. и начальник ранен? На Ярославском вокзале. А… жив еще… А когда отходит экстренный? Роте уехать!

Я больше не ждал, а нырнул в переднюю, наскоро надел пальто, взял лучшего извозчика и через двадцать минут был на Ярославском вокзале.

Там суматоха страшная. У знакомого служащего узнаю, что на Лосиноостровской перестрелка – анархисты засели в дачу, их осаждают, есть раненые и убитые. Сейчас привезли с поездом раненых, отправили в больницу, а начальника охранки и еще какого-то офицера перевязывают у начальника станции в кабинете, что сейчас отходит поезд с войском.

Я бросился на платформу, по пути заглянув на перевязку: в кабинете начальника станции хлопотали доктора… я видел только двух раненых: одного перевязывали на диване, около него таз с кровью, другой, тоже раздетый догола, сидел на кресле, из плеча его текла кровь – доктор обмывал. Это был начальник охранки.

Я бросился к поезду – вовремя. Он уже бесшумно без всяких свистков, медленно двигался. Я в конце платформы догнал его и успел вскочить на площадку последнего вагона 3-его класса – а дверь вагона была затерта… Так и мерз я в снежную вьюгу на северном ветру, вспоминая о деликатесных закусках. Последний вагон мотало во все стороны, поезд мчался, как безумный!

С корабля на бал, – вспомнилось мне, но с бала на корабль, да еще в бурю. Много хуже.

Вот замелькали огни Лосиноостровской. Вдали грянул залп… Несколько ответных выстрелов… Снова залп… Форменная перестрелка влево от поезда…

Наконец он остановился. Последний вагон далеко от платформы. Я прыгнул в сугроб, увяз почти по пояс в снегу, и, когда выбрался, солдаты вылезали из вагонов. Сторож мне указал, куда – и я бросился бегом по дороге, завьюженной метущим снегом. Я бежал на

выстрелы. На улице толпы народа жмутся к стенам… Посвистывают пули… Передо мной дача с открытым слуховым окном, из которого нет-нет да и мелькнет огонек. За соседней дачей в саду прячутся солдаты и жандармы. Палят в окно и крышу. Я затесался среди них. Узнаю, что анархисты скрылись в пустой даче, и когда их хотели арестовать – стали отстреливаться. По телефону вызвали из Москвы жандармов и солдат. Убили нескольких из них, убили жандармского офицера и ранили начальника охраны – полковника. Между садиком и дачей, в которой были мы, не то небольшой пустырь, не то двор. Низ дачи освещен изнутри – даже видна лампа на столе сквозь разбитые окна.

Пришли еще солдаты и тоже стали сзади нас. Снова дали залп по крыше, целясь в слуховое окно. Ответа не последовало. Стрельба прекратилась, и без выстрелов еще жутче стало.

– Что-то они затеяли, может, бомбы, – слышу шепот сзади меня.

Все стихло. Внизу дачи, как видно в окна, никого нет. Спрашиваю, стреляли ли из нижних окон и из дверей, получаю уверенный ответ:

– Нет, только из одного слухового окна с чердака.

Соображаю, что двор между мной и дачей не находится в полосе обстрела, – с чердака только можно стрелять вдаль, не вылезая из окошка.

Взглядываю на часы – половина второго. Опоздал в редакцию, весь заряд пропал. Решаюсь на исследование и вдвоем с каким-то оборванцем перебегаю дворик, заглядываю в окна, лампочка жестяная на столе, темнота в следующей комнате, где входная дверь и полная тишина. Ни звука. Подбегает к нам жандарм и двое солдат.

– Ну что?

– Да ничего не слыхать! Наверное, всех перебили.

– Еще бы, крыша как решето!

К нам присоединяется местный житель в железнодорожной фуражке и вынимает из кармана электрический фонарик.

Мы обходим с другой стороны. Рванули дверь – отворилась. Это сени, приставная лестница на чердак.

Прислушиваемся – ни звука.

К нам начинают присоединяться полицейские и солдаты.

Железнодорожник с фонариком поднимается по лестнице и тотчас же спускается.

– Там никого нет. Да я близорук – плохо вижу, только там тихо.

Беру фонарик, поднимаюсь. Никого. Гляжу дальше – у борова трубы лежит ничком человек, и луч фонаря осветил руку с зажатым в ней браунингом.

– Убитый лежит, – говорю я и передаю фонарик жандарму. А в это время оборванец как кошка взбирается по лестнице и исчезает на чердаке. Жандарм ждет с фонариком. Через минуту оборванец кричит сверху:

– Там убитые!

Быстро слезает и прямо к двери, но поскальзывается, и из-под его отрепьев падает на пол браунинг. Жандарм и двое каких-то уже наверху кричат:

– Только один убитый, больше никого нет! А у двери шум. Там задержали оборванца. – Вот он! Пистолет у него!

– Держи анархиста! Вот он, этот стрелял! Жандарм спускается и заявляет, что там только один труп, а около него несколько браунингов.

– Уйти некуда, один только и был!

Я бегу на станцию, может, на счастье, поезд застану. И застал. Через десять минут наш экстренный поезд, погрузив четверых раненых, отправляется в Москву.

К самому отходу успел прибыть фельдшер, который мне уже дорогой рассказал, «что смехота вышла». Поймали анархиста с браунингом, а он оказался местным пьяницей, у убитого револьвер стащил да и попался. Его узнали местные жители и отпустили. Он сознался, что украл браунинг у убитого.

* * *

Без четверти четыре я был в редакции, замерзший и в одной калоше, другая осталась в сугробах. Полосы газеты были сверстаны, у вкладного листа одна полоса сверстана, а другая еще в машине. Через полчаса моя корреспонденция в целую колонку уже стояла в полосе, нумер вышел в свое время.

## Женитьба цезаря

Во время революции 1905 года, когда против Столешникова переулка, у дома генерал-губернатора, стояла пушка, наведенная на Петровку, в переулке было необыкновенно тихо. Когда утром выпадал снежок, то он целый день лежал, не отражая следа ни одной человеческой ноги ни на мостовой, ни на тротуаре.

Подойдешь к окну и, под грохот отдаленных выстрелов, смотришь на девственный снег переулка, и вдруг следы… собачьи.

– А, это Цезарь! – обрадуешься.

Следы идут поперек улицы в дом Карзинкина, где заперты ворота, и снова возвращаются к нашим воротам.

А вот и Цезарь. Он деловито бежит к карзинкинским воротам, нюхает фонарный столб и назад. Он один оживляет мертвую улицу.

Эта желтая, крупная, рыжая дворняжка, каких так много на московских улицах, теперь уже старая, пользуется и до сих пор всеобщей любовью, и все ее в округе знают. Цезарь считает долгом службы бросаться на извозчичьих лошадей, громогласно лает и будто бы хватает лошадь за морду, но на самом деле только делает вид. На Большой Дмитровке он обязательно облает вагон трамвая, когда тот начинает двигаться от остановки, и старые кондуктора его приветствуют:

– Цезарь! Цезарь!

Городовые на углу переулка милостиво и ласково относятся к старой собаке, которая обязательно сначала повиляет хвостом перед грозным начальством, а потом уже, получив санкцию, облает трамвай, а иногда издали и автомобиль, которого боится. Сделает свое дело, облает, и, кончив, по своему убеждению, службу, возвращается домой.

Лет двадцать живет Цезарь в переулке. Последние семь лет поселился у меня.

До этого времени он никому не принадлежал, ютился по задним дворам, где дружил с уличными ребятишками и столовался на помойках, всегда счастливо избегая городских сетей, которые раскидывают по утрам ловцы собак. Он боялся даже вида собачьей кареты, где раз ему удалось очутиться и из которой он как-то бежал.

Много лет Цезарь служил доходной статьей дворников и мальчишек.

Каждое воскресенье рано утром обязательно или какой-нибудь мальчишка, или дворник тащил его на веревке на Трубную площадь и продавал кому-нибудь не дешевле рубля.

И каждый понедельник Цезарь возвращался в переулок с перегрызанной веревкой на шее.

Много лет продолжалась эта торговля, до тех пор, когда, наконец, Цезарь попал ко мне.

А случилось это так.

Весной 1907 года, часов в 9 утра, я сидел у себя и работал. Докладывают, что пришел местный околоточный. Принимаю.

– Извините, я к вам с просьбой… Уж извините… Больше не к кому обратиться… Только…

Думая, что у околоточного, славного, добродушного солдата, какая-нибудь нехватка или неприятность, требующая моего заступничества, я предложил ему не стесняться и говорить.

– Вы изволите знать, тут в вашем переулке есть собачка… добрая такая… Цезарем

звать… Так что она сама по себе, бесхозяйская, а проживает на дворах… Так вот извольте прочитать, бумага от градоначальства…

– Цезарь? Бумага? Ничего не понимаю!

– Так что он портного немного укусил… Опять пальто изорвал… Тот пожаловался, и вот бумага.

Читаю. Оказывается, предписание пристава: «оную бродячую собаку, именуемую Цезарем, уничтожить».

– Так вот пристав мне и приказал ее уничтожить… Что же, вешать, что ли, я ее буду? Нешто это возможно… Собачка ласковая… А ежели с портным у них… так это промеж себя вышло. Наверное, дразнил собаку, и притом он всегда пьяный…

– Ну, что же я могу сделать?

– Да уж пустяки… Ежели портному, коли к мировому заявит, не больше… трешницы… А может, и так обойдется.

– Ну, что же, вот три рубля!

– Не надо-с, помилуйте! Я и сам бы трешницу-то ему отдал, свою… А ведь собачка-то ласковая… Я не о том… Видите… Нельзя ли на этой бумаге написать, что собака ваша… Тогда, значит, и делу конец… А собачка-то хорошая.

Околоточный быстро повернулся, пошел к двери, отворил и позвал:

– Цезарь! Цезарь!

Никогда не бывавший у меня, Цезарь, боязливо виляя хвостом, подошел и, вытянув лапы, сделал мне, ласково улыбаясь, собачий книксен.

– Вот видите, я его захватил с собой, а он и пришел… Стало быть, судьба!

Я взял бумагу и написал в ответ на предписание об уничтожении собаки следующее:

«Сим удостоверяю, что оная собака, именуемая Цезарь, принадлежит мне и ответственность за нее принимаю на себя, а завтра в городской управе выправлю на имя Цезаря законный вид на проживание в столице и собачий знак отличия для ношения на ошейнике».

Радостный и благодарный околоточный погладил Цезаря, сказал ему «живи, слушайся хозяина», и ушел.

Вот и живет у меня седьмой год Цезарь, несмотря на свой преклонный возраст продолжая лаять на извозчичьих лошадей и на трамвай, но уже не бросаясь на подножки, а только издали, так как раз был сшиблен вагоном и получил перелом ноги.

*** * ***

В конце сентября, в одно из воскресений, сижу один и читаю газеты. Цезарь расположился рядом, на полу, и умильно смотрит на меня. Попадается объявление:

«Невеста с приданым от 3,000 р. до 300,000 р. адрес: Германия, Берлин, 112. Брачное бюро Александра Блюгера. Желающие сообщают свой адрес и 10 коп. марками на ответ».

– Цезарь! Хочешь получить три тысячи рублей? Цезарь мило улыбнулся и молча утвердительно шевельнул хвостом.

Я вложил в конверт 10-копеечную марку, сделал запрос Александру Блюгеру, прося прислать подробности.

– Цезарь, позволишь за тебя расписаться? Не привлечешь меня к ответственности за подлог?

Цезарь молчаливо согласился.

И я, подписавшись К. Цезарь, написал адрес, опустил письмо и, конечно, забыл этот случай.

Через неделю получаю письмо из Берлина: «Москва, Столешников, 5, кв. 10. Господину К. Цезарю». Читаю письмо на бланке «Международное брачное бюро Александра Блюгера. Текущий счет в дрезденском банке». Подзываю Цезаря и читаю ему следующее.

(Тут же приложена брошюра, в которой бюро Александра Блюгера просит не

смешивать его с другими фирмами и сулит золотые горы своим клиентам). Читаю:

«Вы имеете возможность избирать из наших списков одновременно нескольких дам и со всеми избранными вступать в непосредственные сношения и с полной уверенностью можете рассчитывать на достижение счастливого результата»…

«Мы откровенно знакомим вас с личными, семейными и материальными обстоятельствами избранной дамы».

– Цезарь, слышишь?

Цезарь молчал и никакого внимания. «Мы имеем огромные связи в России и за границей во всех слоях общества»…

«Списки дам мы высылаем вам на русском языке»…

«Чтобы предоставить мужчинам большой выбор, мы работаем для дам не только совершенно безвозмездно, но вообще, в интересах мужчин, не жалеем трудов и расходов, чтобы привлечь в число клиенток как можно больше богатых дам. (У нас агенты повсюду.) Для этого нам приходится часто совершать деловые поездки, поддерживать и расширять сношения во всех слоях общества, вознаграждать наших представителей, и сотрудников, и агентов, платить информационным бюро за наведение справок о наших клиентках и т. д., не говоря уже о весьма значительных расходах на объявления, фотографии и т. п.».

Далее следует требование 10 рублей вперед и прилагается вопросный бланк, на который нужно ответить.

Пока я читал, Цезарь уснул, и я уже ответил на бланке по своему усмотрению.

1) Имя, отчество и фамилия? Отв. К. Цезарь.

2) Место жительства?

О. Столешников, 5. Москва.

3) Сколько лет? О. Двадцать два.

4) Национальность? О. Русский.

5) Холост или вдов?. О. Холост.

6) Имеете ли детей и сколько? О. –

7) Сословие, звание, занятие?

О. Числюсь в списках московской городской управы и состою при конторе.

8) Годовой доход и материальное положение? О. Обеспечен.

Ответив на эти вопросы, я разбудил Цезаря и спрашиваю:

– Пошлем десять рубликов?

Цезарь сердито заворчал и уткнулся носом в пол.

Тем не менее, я в тот же день почтой ценным письмом отправил 10 рублей по адресу бюро Александра Блюгера, в Берлин.

Прошло две недели – ответа никакого.

Так и пропали 10 рублей.

Цезарь сердится, когда его спрашиваю:

– Цезарь, жениться хочешь? Ворчит старик и уходит в кухню!

А публикации Александра Блюгера продолжают появляться в газетах; должно быть, «красненькие» так и летят в Берлин, если нет еще каких-нибудь расчетов и доходов у этого Брачного бюро Александра Блюгера в Берлине!

Впрочем, что же? Получишь ни за что, ни про что десять рублей – выгодно и более безопасно, чем, например.

– Торговать живым товаром и поставлять женщин в дома разврата.

Риску никакого.

Расходы только по публикации, которые окупаются и, по всей вероятности, дают доход, так как простаков в России немало, а обманутый жаловаться постыдится.

Собака – другое дело. Ей нечего стыдиться; пропали 10 рублей, на которые я хотел Цезарю купить новый коврик.

Зато в числе женихов брачного бюро Александра Блюгера в Берлине числится для его невест интересный жених:

– Рыжая собака Цезарь!

## Из моих воспоминаний

### I. В воздушном шаре

В 1883 году, осенью, воздухоплаватель Берг совершал в Москве полеты на монгольфьере, и первый раз я имел удовольствие подниматься с ним. Шар, из какой-то серой материи, напоминающий тряпку, был небольшой и не внушал доверия. Вместо корзины под шаром были обручи, переплетенные веревками с дощечками вместо дна, тоже связанными веревками и редко положенными одна от другой. Вышина корзины – до колена. Приходилось стоя держаться за веревки, а сесть было некуда. Помню, что был очень туманный вечер, уже темнело, а шар плохо наполнялся. Публика, собравшаяся массой на дворе пустыря Мошнина, в Каретном ряду, где теперь сад Щукина, выражала недовольство и требовала полета. Берг, маленький старичок, страшно волновался и вызывал желающих подняться – но охотников не было. Я в это время работал в «Московском листке» и был командирован редакцией описать полет и пришел с опозданием, когда публика уже сердилась: шар был готов к полету, а Берг искал пассажира. Как это случилось – теперь не помню – но я изъявил желание полететь, вскочил в корзину, Берг последовал за мной, и, может быть, боясь, чтобы я не ушел, сразу скомандовал отпускать шар. Рабочие отдали веревки, и шар ринулся вверх, но как-то метнулся в сторону, низ корзины задел за трубу – к счастью, только самым краем, и все обошлось благополучно. Первый момент слышались приветствия толпы, и сразу все смолкло. Я не чувствовал полета вверх, а только видел, что Москва с ее огнями быстро проваливается и, наконец, совершенно исчезла: холодный туман окутал шар. Это было делом нескольких секунд. Было холодно, сыро и совершенно тихо. Впечатление полета осталось навсегда: и до сих пор, закрыв глаза, я могу себе ясно представить первый момент отрыва от земли. Это самое сильное. И не хотелось спускаться на землю – так хорошо было в мертвой тишине воздуха, даже в этой ужасной корзине, не дающей точки опоры. Впрочем, может быть, в этом и была главная прелесть.

### II. Полет Д. И. Менделеева

Полное солнечное затмение наблюдалось в Московской губернии 8 августа 1887 года, и местом для научных наблюдений был избран г. Клин, куда я и прибыл с ночным поездом Николаевской железной дороги, битком набитым москвичами, ехавшими наблюдать затмение.

В четвертом часу утра было еще темно. Я вышел с вокзала и отправился в поле, покрытое толпами народа, окружавшего воздушный шар, качавшийся на темном фоне неба.

– Совсем голова из оперы «Руслан и Людмила».

На востоке небо чисто, и светились розовые, золотистые отблески. А внизу было туманно.

Шар окружен загородкой, и рядом целая баррикада из шпал, на которой стояли аппараты для приготовления водорода и наполнения им шара.

Кругом хлопотали солдаты саперного батальона.

Весь день накануне наполняли шар, но работе мешала буря, рвавшая и ударявшая шар о землю. На шаре надпись: «Русский».

Среди публики бегал рваный мужичонко, торговец трубками для наблюдения затмения, и визжал:

– Покупайте, господа, стеклышки, через минуту затмение начинается.

В 6 часов утра молодой поручик лейб-гвардии саперного батальона А. М. Кованько скомандовал:

– Крепить корзину!

В корзину пристроили барограф, два барометра, бинокли, спектроскоп, электрический фонарь и сигнальную трубу.

С шара предполагалось зарисовать корону солнца, наблюдать движение тени и произвести спектральный анализ.

В 6 часов 25 минут к корзине подошел, встреченный аплодисментами, высокий, немного сутулый, с лежащими по плечам волосами, с проседью и длинной бородой, профессор Дмитрий Иванович Менделеев. В его руках телеграмма, которую он читает:

«На прояснение надежда слаба. Ветер ожидается южный. Срезневский».

Менделеев и Кованько сели в корзину, но намокший шар не поднимается.

Между ними идет разговор. Слышно только, что каждому хочется лететь, и, наконец, г. Кованько уступает просьбам Менделеева и читает ему лекцию об управлении шаром, показывая, что и как делать.

Менделеев целуется с Кованько, который вылезает из корзины. Подходят профессор Краевич, дети профессора и знакомые. Целуются, прощаются…

Начинает быстро темнеть.

Г. Кованько выскакивает из корзины и командует солдатам:

– Отдавай!

Шар рвануло кверху, и, при криках «ура», он исчез в темноте…

Как сейчас, вижу огромную фигуру профессора, его развевающиеся волосы из-под нахлобученной широкополой шляпы… Руки подняты кверху, – он разбирается в веревках…

И сразу исчезает… Делается совершенно темно… Стало холодно и жутко… С некоторыми дамами дурно… Мужики за несколько минут перед этим смеялись:

– Уж больно господа хитры стали, заранее про небесную планиду знают… А никакого затмения и не будет!..

Эти мужики теперь в ужасе бросились бежать почему-то к деревне. Кое-кто лег на землю… Молятся… Причитают… Особенно бабы…

А вдали ревет деревенское стадо. Вороны каркают тревожно и носятся низко над полем…

Жутко и холодно.

### III. Первый аэроплан

Посредине скакового круга стоял большой балаган на колесах, с несколькими навесами из парусины.

Просто-напросто балаган, какие строят по воскресеньям на Сухаревке. Так казалось издали.

Это я видел с трибуны скакового ипподрома.

До начала полета Уточкина было еще долго – и я поехал в парк и вернулся к 7 часам.

Кругом ипподрома толпы народа – даровых зрителей.

«Поднимается! Сейчас полетит… Во-вот!» – слышны крики.

Входя в членскую беседку, я услышал над собой шум и остановился в изумлении:

– Тот самый балаган, который я видел стоящим на скаковом кругу, мчится по воздуху прямо на нас…

– Как живой!

Конечно, я шел сюда смотреть полет Уточкина на аэроплане, конечно, я прочел и пересмотрел в иллюстрациях все об аэропланах, но видеть перед собой несущийся с шумом по воздуху на высоте нескольких сажен над землей громадный балаган – производит ошеломляющее впечатление. И посредине этого балагана сидел человек.

Значит – помещение жилое.

Несущееся по воздуху!

Что-то сказочное!

Оно миновало трибуны, сделало поворот и помчалось над забором, отделяющим скаковой круг от Брестской железной дороги. И ярко обрисовалось на фоне высокого здания.

В профиль оно казалось громадной стрелой с прорезающим воздух острием…

Еще поворот, еще яркий профиль на фоне водокачки – и летящее чудо снова мчится к трибунам… Снова шум, напоминающий шум стрекозы, увеличенной в миллионы раз…

И под этот шум начинает казаться, что, действительно, летит необычная стрекоза…

А знаешь, что этим необычным летящим предметом управляет человек – но не видишь, как управляет, и кажется:

– Оно само летит!..

Но Уточкин показывает, что это «нечто летящее в воздухе» – ничто без него.

Все время приходится бороться с ветром, и, наконец, кажется, на шестом круге ветер осиливает, и быстро мчащийся аэроплан бросает на высокий столб против середины трибун. Многие из публики заметили опасность: еще несколько секунд – полет окончен, аппарат – вдребезги.

– Наносит на столб!..

– Сейчас разобьется!

Но тут исчезает у зрителей летящее чудо, и вырастает душа этого чуда: человек, управляющий полетом.

И в самый опасный момент Уточкин делает движение рукой.

Прекращается шум. Летящий предмет на секунду останавливается в воздухе:

– Сейчас упадет!

Но еще движение рукой, снова шумит мотор, который на секунду остановил Уточкин на полном полете, и направление меняется.

Аэроплан делает движение влево, мимо столба, и поднимается кверху.

Уточкин смотрит на публику. – Ничего! Летим дальше… И снова взмывает выше, и снова делает круг, И впечатление еще сильнее: он прямо летит над зрителями на высоте крыши трибуны и от членской беседки снова несется влево…

Он, наверно, слышит несмолкаемые аплодисменты и крики одобрения и удивления…

Еще два круга – всего 9 – описывает аэроплан и опускается плавно и тихо на траву ипподрома.

Уточкин выходит под гром аплодисментов перед трибуной.

Чествуют победителя над воздухом.

* * *

На зеленой траве круга стоит большой балаган на колесах с несколькими навесами из парусины.

И будет стоять до тех пор, пока не придет человек и не заставит его полететь по воздуху.

## Сыщики

Раздался последний звонок к отходящему почтовому поезду, за ним свисток обер-кондуктора, два ответных свистка машиниста, и паровоз, пыхтя и шумно выбрасывая белые клубы дыма, потащил за собой длинный ряд вагонов…

– Ну?

– Ничего, ни одного подходящего рыла… За одним я в вагон вошел, уж очень подозрителен… сперва так и думал, что из тех, да оказался причетник со священником едет… А ты?

– Ничего. Не могу и представить, где они теперь… Ударимся в ночлежные, может, там что добудем… А работа громил, – такой верный удар насмерть, опять взломы чистые и коловорот цел…

Так разговаривали двое мужчин в пальто и чуйке, за несколько минут перед тем смотревшие пристально в лицо каждого пассажира, проходившего в вагоны.

– Так поехали?

– Да, только пойдем выпьем по рюмке, а то глотка пересохла.

У буфета, когда они подошли к нему, стоял пьяный немолодой мужчина и ел бутерброд.

– Разве поезд ушел? А? – обратился к лакеям стрелой влетевший молодой человек в коротеньком пальто и, не дождавшись ответа, пробежал к толстяку с бутербродом.

– Вася, ты куда? – спросил его тот.

– Сюда… надо съездить недалечко, да опоздал, скверно…

– А ты куда?

– Обедать собрался… в трактир куда-нибудь думаю… Домашнее все надоело.

– В трактир? Ну поедем вместе… Селяночку со свежей рыбкой…

– Ну, а как дела? – продолжал толстяк, расплачиваясь за бутерброд.

– Ничего… дельце наклюнулось… На Садовой… и хорошее, капитальное… коловорот, я тебе скажу… – продолжал на ходу вошедший.

Чуйка и пальто толкнули друг друга локтем, расплатились, перешепнулись и пошли.

До них долетели слова молодого: «одним ударом… череп вдребезги… крови лужа… и три тысячи кроме мелочи… три тысячи! А?».

– А? Каково? Нет, ты скажи, каково? А все рюмка водки сделала. Говорил ведь я, что не Сережка…

– Это что-то новое… Молодого-то я видал где… А кто толстяк… Ну счастье!.. Слушай же: ты поезжай в Татарский и жди, а я, чтоб не навлечь подозрения, отправлюсь за ними. Так?

– Так? Дурак? А если они разделятся, тогда как? Нет, уж ехать вместе, ежели что – один за одним, а другой за другим… Якши?

– Якши…

Они взяли извозчика и, не выпуская из виду толстяка и молодого, быстро мчавшихся на маленьких санях, поехали за ними.

– Позвольте узнать ваше имя и фамилию! – подойдя к толстяку, аппетитно уписывавшему в трактире селянку, спросил виденный нами на вокзале мужчина в пальто.

– Это зачем вам и кто вы?

– Не ваше дело: я у вас спрашиваю имя, фамилию и звание.

– Как, черт побери, не мое дело? Да ведь имя-то мое, так, значит, мое и дело… Вася!

– А? – не глядя на него, бросил спрашиваемый, продолжая что-то быстро писать на полулистке бумаги.

– Ну-с, отвечайте…

– Да на каком основании вы спрашиваете?

– Вот на каком. – «Пальто» вынул из кармана свою фотографическую карточку за стеклом, с надписью, и показал ее.

– Ну так что же?

– Если не ответите, я вас обоих приглашу куда следует…

– Что такое? – кончив писать и складывая бумагу, обратился Вася.

– Позвольте узнать, что вы написали?.. Дайте бумагу…

– Вася, что же это? Я ровно ничего не понимаю… Нас хотят пригласить «куда следует»… За какие такие радости?

«Вася» посмотрел на карточку, потом на «пальто» и расхохотался…

– Э-эх, горе! Нате, читайте!..

«Пальто» с жадностью начал читать… Лицо его изменялось все более и более, и, наконец, он, низко поклонившись, рассыпался в извинениях и вышел на улицу, где ждал его и чуйка:

– Ну, распорядился об?..

– Кукиш с маслом распорядился об… ты все, дурак, виноват!.. Убийцы, убийцы!.. Приезжие убийцы!.. Еще слава богу народ не скандальный, а то было бы…

– А кто же? Откуда они все знают до подробности? – Откуда? Были там и знают… Разнюхали!.. Читал я их заметку… То есть так расписал, так расписал, будто собственноручно убивал и грабил, до последней мелочи… Положение трупа, величина раны и даже самый предсмертный стон изображен… все!

– Да кто же они? Кто?

– Кто? Кто? Репортеры газетные, вот кто!..

## Корнет Савин

Более 30 лет имя корнета Савина не сходило со столбцов русских, европейских и даже американских газет, помещавших самые невероятные его авантюры.

То корнет Савин открывает новый Клондайк на несуществующем острове и ухитряется реализовать фальшивые акции, то является претендентом на болгарский престол и принимается султаном на Селямлике, то совершает ряд смелых побегов из европейских тюрем или выскакивает под Тамбовом из окна вагона скорого поезда на полном ходу… Одно невероятнее другого – и без конца, без конца… Знаменитые авантюристы прошлых веков – Казанова, Калиостро и другие, чьими мемуарами зачитывается до сих пор весь свет, перед корнетом Савиным, выражаясь словами Расплюева:

– Мальчишки и щенки!

Более 25 лет Савин состоял бессменным обитателем тюрьмы, время от времени прерывая свое сидение за решетками смелыми побегами, появляясь снова то в России, то за границей, чтобы блеснуть на газетных столбцах то в телеграммах, то в уголовной хронике своим именем.

Последний раз в Москве он был летом 1911 года, прибыв сюда ни более, ни менее, как из нарымской тундры, совершив побег через бесконечную сибирскую тайгу, несмотря на свои 56 лет.

Явился в Москву прилично одетым, с ручным багажом и прямо, по старой привычке, отправился в одну из лучших гостиниц, Лоскутную, где занял хороший номер, спросил книгу для приезжающих и преважно расчеркнулся:

– Граф де Тулуз-Лотрек из Нового Орлеана. А паспорта, расписавшись, не дал.

Входит управляющий, почтенный старик, занимающий место десятки лет.

– Пожалуйте, ваше сиятельство, паспорт. Ноне строго… Того и гляди за непрописку на 500 рублей оштрафуют.

– Во-первых, паспорт – это предрассудки, когда я сам налицо!

– Так-то оно так, а все-таки без паспорта никак не возможно.

– Да ты меня, Миша, не узнаешь, что ли? Управляющий вглядывается, старается припомнить.

– Лицо знакомое-с… Никак Николай Герасимович!..

– Ну, вот и узнал. А если надо уж непременно прописать паспорт, – вот тебе и паспорта! Выбирай любой и прописывай.

Савин вынул из саквояжа десяток подложных паспортов на всякие звания и выкинул на стол. Управляющий посмотрел и обезумел.

– Все фальшивые-с?

– Не беспокойся, пропишут… Вон их сколько прописанных…

В конце концов управляющий дал денег на расходы Савину и выпроводил его после дружеской беседы и воспоминаний доброго старого времени, когда Савин проживал в этой гостинице тысячи.

* * *

Я познакомился с Савиным в самом начале 80-х годов.

На Б. Дмитровке тогда существовал д. Муравьева, где прежде помещался лицей Каткова, «Салон деВарьетэ», родоначальник «Омонов», «Максимов» и других «шато-кабаков», разросшихся в Москве с легкой руки Егора Кузнецова, много лет содержавшего «Салошку» и нажившего большой капитал.

Здесь шли разгульные ночи с хорами и оркестрами. Особенно переполнялись залы и кабинеты накануне праздников чуть не с 8 часов вечера, так как публике деваться было некуда – драматические спектакли тогда были под праздник запрещены, а «Салошка» торговала всю ночь напролет. Под праздник здесь было то, что называется «дым коромыслом». Были излюбленные гости из кутящего купечества, которые пропивали в вечер тысячи и дебоширили вплоть до устройства ванн из шампанского, в которых купали певиц в отдельных кабинетах.

Конечно, эти кутилы, расплатившись тысячами за такую ванну, выйдя из «Салошки», выторговывали у извозчика пятиалтынный и потом долгое время наверстывали расходы, расплачиваясь досрочными купонами и сериями, обрезанными за два года вперед.

Но в «Салошке» они не жалели бросать денег в пьяном угаре и щедро одаривали прислугу и распорядителей.

Некоторые дарили часы, перстни, деньги, а один, парчовый фабрикант с Никольской, так товаром отблагодарил ловкого распорядителя, которого звали, кажется, если не ошибаюсь за давностью времени, Алексей Васильевич. Это был небольшой, полненький человечек, чрезвычайно юркий, услужливый, знающий толк и в людях и в винах.

Вот через него-то я и познакомился с корнетом Савиным.

В один прекрасный вечер мы сидели в «Салошке» дружной компанией за веселым ужином. Некоторые из моих собеседников живы, а многих уже нет, в том числе и известного любимца Москвы актера Градова-Соколова.

Перед нами стоял Алексей Васильевич, метрдотель, которому мы заказывали ужин. На нем был надет под фраком необыкновенный жилет из золотой парчи, на который из нас никто не обратил внимания до тех пор, пока не остановился перед нашим столом красавец мужчина, одетый по последней моде, и не хлопнул распорядителя по животу.

– Это что надел, чудище? Что это за жилет?

– А, Николай Герасимович! Ты один? Если один, – садись с нами!.. Позволь познакомить.

И Градов-Соколов представил нам подошедшего:

– Мой приятель, помещик, Николай Герасимович Савин.

Сел – и снова к распорядителю:

– Что это за мода? Откуда такой жилет?

– В ту субботу подарил один наш постоянный гость, фабрикант. Целый год обещал все подарок сделать и в субботу приходит с дамами в кабинет, призывает меня, подает мне сверток и говорит:

– А вот тебе, Алеша, от меня самый дорогой подарок, лучше нет, – двести рублей стоит!

Развертываю, смотрю – парча.

– Как, для чего? – вскипятился.

– На покров, коли умрешь. Бери и кланяйся!

– Взял я парчу, принес домой, отрезал на жилет и заказал портному. Не правда ли, красиво?

– А знаешь, недурно! Вот я поеду в Париж и введу в моду парчовые жилеты! – сказал Савин.

Не знаю, удалось ли ему когда-нибудь ввести эту моду, но в этот вечер он положительно очаровал нашу компанию блестким остроумием и интересными рассказами о жизни. Иногда он поднимал руки кверху, обводил глазами стены и говорил:

– Alma mater! Это моя alma mater!!

– Это вы про что?

– Вот про эти самые стены! Это моя alma mater! Здесь я нашел свою судьбу!..

На все дальнейшие вопросы он не отвечал, переводил разговор на другое, и только спустя почти тридцать лет я узнал из рукописного дневника Савина, почему он называл стены «Салошки» alma mater. Здесь помещался Катковский лицей, где учился Савин!

Первая глава дневника его начинается с того, о чем он так упорно тогда молчал, не желая объяснить, почему он называл «Салон де-Варьетэ» своей alma mater: в ней описывается лицей Каткова, аристократическое учебное заведение с правом университета.

Наш ужин закончился к утру, но около полуночи Градов-Соколов ослабел настолько после шампанского, что Савин проводил его до дому, в его излюбленную Бучумовку, на углу Столешникова переулка, а затем вернулся к нам кончать продолжение ужина.

С тех пор я больше не видался с Савиным.

Прошло несколько лет.

Я работал в «Русских ведомостях» и через редакцию получил письмо, адресованное на мое имя. Это письмо хранится у меня до сего времени.

В этом письме Н. Г. Савин сообщает мне, что он закончил большой литературный труд «Исповедь корнета», в котором описал свою жизнь и приключения. Савин просил меня в письме просмотреть его работу, проредактировать и начать печатанием или в газете или отдельным изданием.

Самой рукописи не прислал.

Письмо заканчивается следующими строками:

«Я вас могу принять ежедневно от часа до трех дня у себя. Сам же не могу явиться к вам, к моему глубочайшему сожалению, потому, что содержусь в тюремном замке, в Каменщиках. Итак, жду вас у себя. Ваш покорный слуга Николай Савин».

Тут он приложил оглавление своей исповеди в трех частях: первая часть – Бурная молодость, вторая – Травля по Европе и третья – Инквизиция XIX века.

Это, мне помнится, было в 1888 году, во время моего отсутствия из Москвы, а когда я получил письмо, лежавшее месяца три в редакции, – Савина в Москве уже не было. Я очень жалел, что не воспользовался этим материалом, но счастливый случай через 25 лет привел этот материал опять ко мне в руки.

Почти через 30 лет после встречи в «Салоне деВарьетэ» у меня началась переписка с Савиным.

Савин бежал из Нарымского края, преважно разгуливал в Москве, явился в свое бывшее калужское имение и, наконец, кажется, в г. Боровске был арестован и препровожден в Томск, где и судился окружным судом, а оттуда был переслан в Эстляндию этапным порядком, снова судился в Митаве по новому какому-то делу.

Он пересылался через Москву, и мне кто-то из знакомых сказал, что видел Савина на вокзале, откуда препровождали его в московскую пересыльную тюрьму, что он выглядит больным, плохо одет и, по-видимому, очень нуждается.

Я тогда послал ему немного денег и письмо, в котором напомнил о нашей встрече 30 лет назад.

Савин мне прислал милое письмо, благодарил меня за память. Я ответил, опять послал денег, и началась интересная переписка. Конечно, письма от него приходили ко мне с разрешения прокурорского надзора и тюремных властей, но письма были весьма любопытные и подробные. Савина пересылали судиться то в города Европейской России, то опять в Сибирь, и я получал от него письма из разных тюрем. А когда кончатся суды над ним за разные преступления по совокупности, это неизвестно было. Но он 25 лет сидел по всевозможным тюрьмам.

И бродяжная жизнь, и вечный арест, и тревоги отозвались на здоровье Савина. Он постарел, выдержал в тюрьме операцию, и, кажется, наступил конец его побегам и авантюрам.

Его последние письма все-таки были необыкновенно интересны, хотя отзывались

повышенной нервностью, в чем нет ничего удивительного: такую жизнь не всякий организм выдержит!

Иногда он заговаривался и уже серьезно утверждал, что он граф де Тулуз, и доказывал это в огромном письме, которое я получил как-то осенью. Это кусочки его автобиографии.

Вот что он писал:

«Родился я в 1854 году в Канаде. Крещен в России, в Благовещенской, села Сердинского, церкви 11 января 1855 года. Родители мои – гвардии поручик из потомственных дворян Герасим Савин, а мать Фанни Савина, урожденная графиня де Тулуз-Лотрек. Я усыновлен дядей со стороны матери гр. де Тулуз-Лотрек актом, совершенным в декабре 1895 года в г. Сиятеле, в штате Вашингтон. Эмигрировал в Америку в декабре 1893 года, приехав на пароходе «Аладин» из Владивостока в порт Виктория.

Ввиду усыновления меня я законно ношу имя и титул, присоединив их к моей древней дворянской фамилии – Савина.

27 апреля 1898 года постановлением чикагского суда я натурализован гражданином Соединенных Штатов под этой двойной фамилией. Затем, 15 августа 1899 года я женился в Лондоне на англичанке, уроженке Канады, мисс Мэри Вэрвут, после чего и жил в Канаде, где 12 января 1901 года у нас родилась дочь, после чего я перешел в английское подданство в 1902 году».

В конце 1902 года Савин вновь явился в России и был арестован в Козлове, и тогда в газетах появилось известие, что «Савин умер». На самом же деле он был отправлен в Сибирь пешком по зимнему этапу, бежал на Амур, перебрался на знаменитую китайскую Желтугу и был главарем 7.000 бродяг всех народов, которые и основали Желтугинскую республику, впоследствии разогнанную войсками. Далее в этом письме, автобиографии последних лет, Савин рассказывал ряд приключений и приводил родословную графа де Тулуз-Лотрека и заканчивал последними днями своей жизни, когда его судили уже по обвинению в политических преступлениях.

Перечисляя свои сочинения, он заключал свое письмо ко мне просьбой печатать его рукописи.

Передо мной ряд собственноручных тетрадей Савина, рассказывающего свою удивительную жизнь с самого детства. Первые тетради писаны им в тюрьме еще в его молодости, в конце 80-х годов, когда все им чувствовалось горячо, рассказывалось страстно. И где он не был? Кого не видал? От высшего общества, где он был своим, и до каторжных тюрем и бродяжных шаек, где он был главарем.

Свои записки он ведет с самой юности, постепенно переходя от лицейских дортуаров через жизнь блестящего гвардейца, вращавшегося в высших кругах столиц, да каторжного арестанта…

И только прочитав подробно с самого начала эти записки, можно понять всю богатую одаренность этого человека, не применившего к жизни свою энергию и свои таланты.

Интересно в них описана среда, в которой вращался Савин. Здесь и высшее общество столиц, кутилы и прожигатели жизни Петербурга и Варшавы, гвардейцы, дамы полусвета, театр Берга и его завсегдатаи… Далее заграничные приключения, суды, тюрьмы.

Не раз в жизни улыбалось Савину счастье, и счастье необыкновенное, но никогда он, в силу стечения обстоятельств, не мог им воспользоваться.

Разве это неудивительно: Савин под именем графа Тулуз-Лотрека был вероятнейшим кандидатом на болгарский престол после изгнания Батенберга.

И это могло быть, почти что совершилось, но случайная встреча в ресторане в Константинополе уже после представления Савина султану на Селямлике разрушила все замыслы его.

Кандидатуре на болгарский престол Савин в своих записках посвящает несколько глав, в которых прекрасно описана Болгария стамбуловских времен.

Из этого ряда глав я позволю себе сделать небольшое извлечение, опять-таки характеризующее Савина.

Он явился в Болгарию под именем гр. Николая де Тулуз-Лотрека и предложил нуждавшемуся в деньгах Стамбулову сделать государственный заем у крупных парижских банкиров, представителем которых он назвался, предъявив, конечно, фальшивые доверенности и другие документы.

Предложение это, которому Стамбулов обрадовался, ввело Савина в круг министров, где он занял почетное положение, кончившееся тем, что в один прекрасный день между Стамбуловым и им вышел такой разговор:

– Нам необходимо выставить своего кандидата и, во всяком случае, провалить на выборах в Тырнове невыгодного для нас князя Мингрельского. У нас кандидат уже намечен и утвержден нами.

– Кто же он? – спрашиваю я.

– Вы, граф! И я приехал просить вашего благосклонного согласия.

Удар грома из безоблачного неба не ошеломил бы меня так, как слова регента. Я думал сначала, что это шутка, но по выражению лица Стамбулова я убедился, что предложение его обдумано.

– А вы, кажется, удивлены, граф? Но я говорю серьезно, строго обдумано и приехал к вам не как знакомый, а как первый министр Болгарии после обсуждения всего с моими коллегами. Поверьте, что ничего удивительного в моем предложении нет. Почему вы, граф де Тулуз-Лотрек, чей род состоит в родстве с Бурбонами, не можете быть кандидатом на болгарский престол?.. Скажите, чем какой-нибудь Батенберг или князь Мингрельский достойнее вас, потомка владетельных князей Франции? Мы все это обсудили и просим вас.

И Савин на другой день дал свое согласие. Все это постановлено хранить в тайне до тырновских выборов, где народное собрание сделало бы все, что предложит Стамбулов, а затем, когда выборы состоятся, ничего бы не было страшного.

Далее решено было поехать новому кандидату в Константинополь, представиться великому визирю Киамил-паше, а затем и султану.

И через неделю Савин уже ехал на пароходе из Варны в Константинополь.

В главе «На пароходе» Савин так обдумывает свое положение:

«Это неожиданное предложение ошеломило бы всякого. Каково же оно было мне, скрывающемуся под чужим именем, даже не французу, а русскому офицеру, врагу тех, которые предлагают мне быть их князем? Предложение это было серьезно обдумано болгарскими воротилами. По их понятиям, я был человеком вполне подходящим. Возвышая меня на болгарский трон, они надеются сохранить за собой власть и силу в стране. Должен ли я, по их мнению, я, их креатура, оставить их бесконтрольно заправлять всем в стране?

И пришел я к заключению, что кандидатуру принять надо. Как русский, как славянин, я, будучи болгарским князем, мог принести более пользы России, чем какой-нибудь немец, назначенный Бисмарком и Англией. Я призван спасти Болгарию от всякого порабощения неславянских стран, я призван принести пользу общеславянскому делу и, может быть, очистить путь к Царь-граду славянам. Я убежден, что рано или поздно Царь-град будет центром славянства в руках России».

С этими мыслями подплывал Савин к Царьграду.

Далее. Он принят во французском и болгарском посольствах, как высокая особа, принят великим визирем и, наконец, султаном Абдул-Гамидом. Остаются отъезд в Софию и уже подготовленные Стамбуловым выборы.

Но…

Появились сведения в газетах о новой кандидатуре. В издающейся на английском языке константинопольской газете «Стамбул» напечатаны были какие-то оскорбительные намеки. И Савин вызывает редактора «Стамбула», англичанина, на дуэль, а когда тот отказывается, бьет его хлыстом по лицу.

Все газеты наполнились скандалом.

Но и это еще сошло бы.

Главное несчастье, решившее судьбу Болгарии и нового князя, было в том, что, будучи

в Москве, Савин брился у парикмахера Леона, на углу Тверской и Леонтьевского переулка!

Брейся он в другой парикмахерской, – он был бы болгарским князем.

Вышло так: Савин в табльдоте «Hotel de Luxembourg» завтракал с своей компанией. Рядом за другим столом сидел молодой человек, который долго смотрел на Савина, потом вдруг сорвался с места, с радостной улыбкой подбежал к Савину и рассыпался перед ним в любезностях:

– Как я счастлив видеть вас здесь, г. Савин. Давно ли из Москвы?

Кругом все смотрят: речь идет по-французски.

Савин оборвал его дерзостью, заметив, что он его принимает за другое лицо. Но дерзость его погубила.

Обиженный парикмахер, г. Верну, подмастерье Леона, набросился на Савина и закричал:

– Я подошел к вам вежливо, как к старому клиенту, а вы меня оскорбляете! Вы думаете, что я не читаю газет о ваших похождениях… Я сейчас буду жаловаться в посольство…

На другой день Савин был арестован и под конвоем в партии арестантов отправлен на пароходе в Одессу.

Его давно искали.

Во время немецкой войны он опять появился в Москве, был арестован, сослан в Нарым, а затем слухи о нем прекратились.

Таков был корнет Савин.

## Ловля собак в Москве

По обязательным постановлениям городской думы, напечатанным в № 147 «Ведомостей московской городской полиции» за 1886 год, разрешается водить собак по улицам и другим местам, находящимся в общественном пользовании, при условии, чтобы собаки были в ошейниках и на привязи. Собаки же, появляющиеся на улицах, бульварах и других местах, находящихся в общественном пользовании, считаются бродячими и подлежат уничтожению по распоряжению полиции.

Городская дума на этот предмет отпустила московскому обер-полицмейстеру 1000 рублей, и последний предложил содержателю живодерни в деревне Котлах, за Даниловской слободой, Грибанову, принять на себя обязательство ловли и уничтожения бродячих собак, причем Грибанову были предписаны следующие условия: с 21 июля 1886 г. Грибанов будет производить ловлю бродячих собак по улицам, бульварам и в др. местах общественного пользования через нанятых им для этого людей и собственными его сетями и другими снарядами, не допуская никакой жестокости с собаками. Ловля будет производиться ежедневно от часа ночи до 6 утра, пойманные собаки в сырейное заведение Грибанова в дер[евню] Котлы будут отправляться в клетках и содержаться на его счет трое суток, с тем, что если кто-либо из владельцев собак пожелает получить свою собаку, то должен за каждый день прокорма собаки уплатить по 25 к. с, по истечении же трех суток собаки возвращаемы не будут, а поступают в собственность Грибанова. Грибанов накануне дня ловли уведомляет запиской пристава 2-го уч[астка] Серпуховской части о той местности, где на другой день намеревается производить ловлю, и участковый пристав в свою очередь сообщает телеграммой приставу того участка, где будет производиться ловля. Делается это для того, чтобы «по получении означенных телеграмм вменять в обязанность полицейским чинам оказывать ловцам всякое содействие, ограждать от могущих возникать с чьей-либо стороны помех и столкновений; наблюдать, чтобы ловцы не обращались с собаками жестоко и чтобы отнюдь не касались собак, находящихся во дворах и вообще в местах, не подлежащих общественному пользованию».

Ловля, содержание и откуп собак производятся следующим образом: около 11 часов ночи из деревни Котлы в Москву выезжают две запряженные клячами грязнейшие фуры, с

зловонными клетками в них, сопровождаемые оборванцами самого зловещего вида. Это – помощники Грибанова по ловле собак. Хотя по приказу г. московского обер-полицмейстера и полагается ловить собак, не употребляя жестокостей, в том только участке, о коем заявлено Грибановым накануне, но это не исполняется, и ловчие продолжают ловить собак на пути «ходом»: для этого они, заметив собак, расставляют, перегораживая улицу в двух местах, сети и гонят в них собак, стараясь, чтобы последние не ушли на какой-нибудь двор.

Когда собака попадает в сеть, они особого рода железным ухватом прижимают собаку самым безжалостным манером к земле и усаживают в клетку. При этом ловчие стараются поймать всегда хорошую, породистую собаку, а не действительно бродячую, которую они обязаны ловить и которую никто не выкупит. Чтобы уловить породистую собаку, ловчие не брезгуют никакими средствами; они выманивают собак со дворов различными способами, то прикармливая их, то прямо выгоняя, для чего ловчим приходится забегать во двор. При этом не обходится иногда и без неприятностей: если дворники заметят, то непрошеных гостей бьют, как это было, например, в прошлом году на Арбате, в доме Львовой, но ловчие «за тычком не гонятся». Ловчие измыслили еще более ловкий способ выманивания собак – «подлаиванием». С этой целью в деревне Котлах они ежедневно практикуются в лаянии, и некоторые из них действительно лают не хуже звукоподражателя Егорова, лающего, как говорят, «лучше собак». Ловчие употребляют, впрочем, и более бесцеремонные способы для добывания ценных и породистых собак: таков был случай, как сообщалось уже газетами в прошлом году, на Никитском бульваре, где ловчие, увидав дорогого пойнтера, бежавшего за дамой, шедшей в мясную лавку к Арбатским воротам, несмотря на протесты дамы, насильно отняли у нее собаку и увезли в фуре, в Котлы, в свое заведение, удачно названное «собачьей морильней». Прославленные Котлы находятся за Даниловской слободой, верстах в двух от нее. Здесь, невдалеке от зловоннейших боен, стоит и живодерня Грибанова: обширный грязный двор, где под навесом на шестах просушиваются окровавленные, вонючие шкуры убитых на живодерне или павших животных. Тут же и квартира Грибанова, в которую приходится обращаться владельцу пропавшей собаки, совершившему десятиверстное путешествие, а то и далее, из Москвы в Котлы.

Но здесь собаки нет, и ищущего ведут на гору, к развалине какого-то завода, где на широком, поросшем бурьяном дворе есть длинный узкий дощатый сарай, при одном приближении к которому со свежим человеком может сделаться дурно от зловония. Около двери сарая трава и стена покрыты бурыми, жирными пятнами крови, и тут же стоит толстая окровавленная дубина: это место, где бьют собак, и орудие, чем их бьют. Непородистых, никому не нужных собак выводят из фур, надевают им петлю на шею и душат, а если собака очень сильна и живуча, то бьют ее палкой по переносью и с полуживой еще тут же сдирают шкуру, которую сушат и продают от 6 до 12 коп. за штуку. Как видно, доход от бродячих собак не велик, а хлопот с ними много: поймать, убить, шкуру содрать и продать. Зато породистые собаки выручают. Они содержатся в этом зловонном сарае, в вонючих, грязных, с постоянно мокрым полом клетках. В сарае только два выхода, узенькие двери и ни одного окна. Тут же, на голой земле, валяются рогожи и полушубок – это постель, одеяло и подушка неотлучно находящегося при собаках сторожа, молодого парня, занимающегося кормлением, убиением и продажей собак и спокойно живущего в зловоннейшем сарае. Впрочем, здесь не всегда содержатся хорошие, породистые собаки. Прежде, при начале деятельности Грибанова, сарайчик этот был переполнен догами, пойнтерами, сеттерами и т. п., а теперь большинство собак, содержащихся в сарайчике, принадлежат к неаристократической породе «дворняг».

При моем посещении заведения Грибанова я заявил, что у меня пропала собака, и меня привели в этот сарай, где я мог выбрать любую из собак, даже чужую, и, заплатив за нее, сколько потребует доверенный Грибанова, получить ее. При подобном способе получения действительные владельцы собак ничем не гарантированы. Книги о том, где и когда и какая именно собака поймана, не ведется. В три дня – срок выкупа собаки, назначенный полицией, – владелец пропавшей собаки едва ли, если он человек занятой, успеет совершить

путешествие в «Котлы»; а между тем по прошествии трех дней, согласно условию с полицией, собака делается собственностью Грибанова. Кроме того, в соседнем «с морильней» трактире всякий, отыскивающий собаку, может, если тихо поведет разговор, узнать, что хорошие собаки, которых невыгодно отдать за 75 коп. владельцу, т. е. за содержание трех дней по 25 коп. в день, и не попадают вовсе в «морильню», а каким-то манером попадают к собачьим барышникам, занимающимся покупкой «случайных» собак. Тут же в трактире можно узнать, что хорошую собаку у Грибанова, пожалуй, не всегда достанешь и надо идти к барышнику, и при этом указывают на стоящую под горой отдельную хижину, невдалеке от трактира. Хижинка эта окружена забором, за которым на привязи и так ходит с лаем и визгом масса других, породистых собак всех возможных пород, от болонки до громадного дога включительно. Барышник предлагает купить собаку и продает их разно: и дешево, и дорого, кто как сумеет купить. Откуда эта масса собак у гриба-новского соседа – с достоверностью неизвестно, хотя есть слухи, что ловчие лучших собак продают подобным барышникам за бесценок и что последние, не решаясь выводить их на рынок, держат в глухих местах, вроде Котлов, и особенно охотно сбывают приезжим из других городов покупателям.

## Солнечное затмение под Москвой

Клин. 7 августа

**(От наших корреспондентов)**

К вечеру 6 августа сотни москвичей наполнили Николаевский вокзал. Обыкновенно пустующий в это время года дорогой курьерский поезд наполнился пассажирами, взявшими билеты до Клина, одного из лучших пунктов для наблюдения солнечного затмения. Но далеко не все поместились в вагоны. И после отхода поезда все столы громадной буфетной залы были заняты, негде было найти места сесть. Следующий, пассажирский, поезд также битком был набит пассажирами: даже дамы стояли на платформах, к крайнему удивлению поездной прислуги. Пришлось собрать еще экстренный поезд до Завидова, и в этом только нашлись места для всех желающих наблюдать затмение. Поезд отошел около половины двенадцатого и часа через три был в Клину. Я с трудом нашел место в одном из вагонов, битком набитых публикой. Уснуть, даже прилечь, места не было, и пришлось целую ночь не спать. Наконец, поезд остановился в Клину. Большинство пассажиров вышли, остальные уехали на следующую станцию, Завидово.

Я вошел в вокзал. Кругом стоял гомон невообразимый: стук шагов, двигание мебели, бряцание посуды, разговоры – все это слилось в один общий гул. Около столов места брались с бою: если кто-нибудь вставал с места и отходил, оставляя на стуле свою вещь, – вещь эта сбрасывалась, и место бесцеремонно занималось. Измученные, сбитые с ног лакеи не успевали исполнить требований и половины пассажиров. Последние сами с тарелками в руках шли на кухню, заказывали себе кушанье и собственноручно приносили его в зал.

В самый разгар этого ужина-завтрака кто-то громко крикнул, что «шар готов», и толпа начала понемногу сбывать. Вслед за другими я отправился к шару. Было около трех с половиной часов, еще довольно темно. Впрочем, на востоке небо было чисто и виднелись розовые золотистые отблески зари на узких грядах легких облаков. Перейдя полотно железной дороги, вправо от линии есть пустырь, между линией дороги, станцией и Ямской слободой гор. Клина. Этот пустырь, посредине которого имеется прудик, называется Ямским полем. Подле прудика в виде огромной круглой массы, слегка движущейся, покачивался чуть заметно во тьме воздушный шар, напоминавший собой издали голову в «Руслане и Людмиле». Чем ближе мы подходили к шару, тем выше и выше он вырастал перед нами.

Вокруг него стояла загородка, а с правой стороны, с юга, его защищал от ветра занавес, из брезентов. На противоположной стороне стояли аппараты для приготовления водорода для наполнения шара. Это целая баррикада. На платформе из старых шпал установлено три чана для смеси серной кислоты с водой. На чанах помещается холодильник для охлаждения

газа и рядом с ним два химических сушителя, наполненные хлористым кали. Внизу платформы расположено 5 медных генераторов, наполненных железными стружками. От них прокопана канава, по которой стекает в яму железный купорос. На платформе стоят человек десять солдат в прожженных кислотой рубахах и мундирах. Солдаты работают частью около котлов, частью накачивают насосом воду из пруда. Газ, идущий из генераторов в холодильники, поступает потом в сушитель, а оттуда уже по резиновому шлангу, совершенно сухой и холодный, поступает в шар. Шар привезен сюда со станции еще накануне, рано утром, и с 11 часов утра 6 августа наполняется газом под руководством механика г. Гарута при помощи нескольких солдат гальванической учебной роты. Весь день вчера и начало ночи на сегодня шар наполняется неудачно. Мешал ветер, ударявший шар о землю и выбивавший из него газ, и мелкий дождь, намачивавший материю. Лишь с 12 часов ночи шар начал наполняться как следует, и, когда я пришел, был уже почти полон. Только нижняя часть его лежала на земле, раздуваемая ветром, и держалась на веревках от сетки, прикрепленных к мешкам с балластом.

Становилось светлее, и шар ясно был виден.

Он напоминал собой по цвету и форме огромный, желтый бычачий пузырь, оплетенный веревочной сетью. Низ все еще не наполнился газом. С одной стороны шара крупными буквами написано «Русский, с другой мелко: Paris Lachambre. Как мы уже сообщали, шар сделан из бумажной материи, пропитан не льняным маслом, как это делалось прежде, а гуттаперчевым лаком. Он имеет 640 кубических метров емкости и может поднять, считая собственный вес, балласт и сидящих, до 50 пудов, если сух и хорошо наполнен. Около шара стояла плетенная из камыша корзина для воздухоплавателей, с обручем сверху, к которому прикрепляются веревки сети. На корзине прикреплен железный якорь – «пятилапая кошка», сделанная по системе г. Кованько. Собравшаяся публика с любопытством толпилась около шара. Часов с четырех публика все продолжала прибывать с вокзала из города и соседних слобод и деревень. Ямское поле, всегда пустынное, обратилось в какой-то табор. Вокруг шара – густое кольцо народа, далее, группами, зрители расположились по пригоркам и на поляне, разместясь на скамьях и стульях, которые то и дело возами подвозили из города и слобод. Владельцы скамей умело воспользовались моментом и уступали скамьи на время затмения по рублю и более за штуку. Еще далее, кольцом же, кругом публики стояло множество экипажей, на которых сидели разряженные дамы и кавалеры. Это – подгородные помещики и купцы. Около них стояло три-четыре столика с самоварами, с молоком и водами. На возвышениях со всех сторон шара фотографы расставили камеры, стояли телескоп и подзорные трубы, обращенные к востоку. Приехали 6 членов московского Общества велосипедистов-любителей, сделав накануне все расстояние между Москвой и Клином, 84 версты, на велосипедах.

Публика была, видимо, не весела, молчалива. Кое-где слышались отрывочные слова. Особенно удрученное состояние духа замечалось между крестьянами и клинскими мещанами. Как говорили, многие из них накануне исповедались в грехах, надели чистое белье и приготовились к смерти, ожидая светопреставления или землетрясения. Все молчало. Оживлял сцену лишь бегавший с прибаутками торговец трубками для наблюдения затмения, появляющийся всюду и кричавший: «Покупайте, господа, торопитесь, затмение будет через минуту!» Его появление вызывало улыбку, и он торговал прекрасно. Да еще солдаты местной команды развеселили, или скорее удивили на момент публику: во время тишины, в исходе пятого часа, вдруг послышалась солдатская песня. Это шла местная команда и отхватывала лихую песню…

Наконец половина шестого. Солнце давно уже взошло, но его все не видно за туманом, который все становится гуще и гуще. Подул с востока ветерок, туман слегка начал исчезать, показались яснее избы Ямской слободы, и публика как будто повеселела. Но признаков, солнца не было… Стали даже сомневаться, полетят ли Менделеев и Кованько в шаре.

Чувствуя, что погода не прояснится, надежды всех обратились на шар.

Наконец явился г. Кованько. Это молодой, высокого роста красивый поручик, в форме

лейб-гвардии саперного батальона. Он подошел к шару и приказал крепить корзину. Было 6 часов утра.

– Сдавай! – раздалась звучная команда, и человек десять солдат взялись за балластные мешки, державшие шар на земле.

– Шаг вперед!

Солдаты сделали шаг вперед, шар качнулся в воздухе и рванулся кверху.

– Два шага вперед! – и еще выше рванулся шар. Балласт и солдаты уже очутились под шаром, поднявшимся сажени на две. Еще десять солдат ухватились за боковые веревки наружной сети, за «оттяжки». Начали прикреплять корзину. В нее положили инструменты: барограф, два барометра, бинокли, спектроскоп, электрический фонарь, сигнальную трубу и другие вещи, необходимые для наблюдений. На шаре предполагалось зарисовать корону солнца, наблюсти движения тени и произвести спектральный анализ.

К 6 часам 20 минут шар совершенно готов, хотя видно, что он намок, тяжел, несмотря на двойное количество (1200 куб. метров) против требуемого потраченного газа.

Становится темнее. Пошел мелкий, чуть заметный дождь; начался ветер, красиво покачивавший шар.

Ждали профессора Менделеева. В 6 часов 25 минут раздались аплодисменты, и из толпы к шару вышел высокого роста, немного сутулый, с лежащими по плечам волосами, с проседью и длинной бородой человек, с симпатичным, располагающим лицом. Это и был профессор. Он одет в широкополой шляпе, длинном, подпоясанном драповом коричневом пальто, в охотничьих сапогах. Он поздоровался с Кованько и Гарутом и начал готовить инструменты.

– Депеша получена? – спросил он одного из присутствовавших, члена технического Общества.

– Да, сегодня ночью; вот она. – И спрашиваемый прочел следующую депешу из главной Петербургской физической обсерватории: «На прояснение надежда слаба. В Псковской губернии стационарный минимум. Ветер ожидается южный. Срезневский».

Шар так и рвался под ветром. Гг. Менделеев и Кованько сели в корзинку, попробовали, – шар не поднимается, он слишком намок.

Тогда профессор Менделеев предложил подняться один, видя, что двоих шар не поднимет. Публика была поражена предложением почтенного профессора, отваживающегося совершить свое первое воздушное плавание без управителя шаром.

Г. Кованько был принужден согласиться на предложение профессора, вышел из корзины и передал г. Менделееву тоненькую бечевочку от клапана шара.

Последний раза три попробовал бечевку, выслушал объяснение Кованько, как управлять шаром, и начал прощаться. Первым подошел к нему профессор Краевич. Они поцеловались. Затем подошли дети профессора. Потом стали подходить знакомые, все жали руки. Профессор улыбался и был, по-видимому, спокоен. Он попросил перечесть опять телеграмму и крикнул; «Дайте мне нож!» Ему Кованько подал складной ножик.

– До свиданья, друзья! – попрощался профессор, громко скомандовал «прочь», и шар, отпущенный солдатами, плавно поднялся вверх и полетел на север, при громком «ура» и аплодисментах присутствующих.

В это время стало более и более темнеть.

Шар поднимался серой массой, как в густом тумане.

Видно было затем, как воздухоплаватель начал высыпать быстро один за другим мешки балласта, и шар, освобожденный от груза, ринулся вверх и исчез в темноте, в тени затмения.

Это было в 7 часов 46 минут.

Не более минуты шар был виден; полное затмение наступило вдруг.

И неожиданный полет г. Менделеева одного, без управителя шаром, и трогательная сцена прощания с ним, и исчезновение шара в темноте, и мрак, моментально охвативший землю, удручающе подействовали на всех.

Как-то жутко стало.

С несколькими дамами сделалось дурно.

Толпа крестьян, за минуту перед тем мне в лицо говоривших с усмешкой, что «уж господа больно хитры, раньше знают про затмение, и что никакого затмения не будет», ринулась почему-то бежать от места, где был шар, к деревне.

Смолкло все. Лошади стояли смирно и продолжали по-прежнему жевать траву. На собак тоже мрак не произвел никакого действия. Они были спокойны.

Я оглянулся по направлению станции. Там горели огни платформы и паровозов ярко, как в темную ночь. Потом огни начали краснеть, исчезать, забелелся дневной свет и так же быстро день сменил ночь, как ночь сменила день.

Все молчали. Прошло не менее 10 минут, как начали расходиться. День продолжался серый, туманный.

## Катастрофа на Ходынском поле

Причину катастрофы выяснит следствие, которое уже начато и ведется. Пока же я ограничусь описанием всего виденного мной и теми достоверными сведениями, которые мне удалось получить от очевидцев. Начинаю с описания местности, где произошла катастрофа. Неудачное расположение буфетов для раздачи кружек и угощений безусловно увеличило количество жертв. Они построены так: шагах в ста от шоссе, по направлению к Ваганьковскому кладбищу, тянется их цепь, по временам разрываясь более или менее длительными интервалами. Десятки буфетов соединены одной крышей, имея между собой полтороаршинный суживающийся в середине проход, так как предполагалось пропускать народ на гулянье со стороны Москвы именно через эти проходы, вручив каждому из гуляющих узелок с угощением. Параллельно буфетам, со стороны Москвы, т. е. откуда ожидался народ, тянется сначала от шоссе глубокая, с обрывистыми краями и аршинным валом, канава, переходящая против первых буфетов в широкий, сажень до 30, ров, – бывший карьер, где брали песок и глину. Ров, глубиной местами около двух сажен, имеет крутые, обрывистые берега и изрыт массой иногда очень глубоких ям. Он тянется на протяжении более полуверсты, как раз вдоль буфетов, и перед буфетами имеет во все свое протяжение площадку, шириной от 20 до 30 шагов. На ней-то и предполагалось, по-видимому, установить народ для вручения ему узелков и для пропуска вовнутрь поля. Однако вышло не так: народу набралась масса, и тысячная доля его не поместилась на площадке. Раздачу предполагали производить с 10 часов утра 18 мая, а народ начал собираться еще накануне, 17-го, чуть не с полудня, ночью же потянул отовсюду, из Москвы, с фабрик и из деревень, положительно запруживая улицы, прилегающие к заставам Тверской, Пресненской и Бутырской. К полуночи громадная площадь, во многих местах изрытая ямами, начиная от буфетов, на всем их протяжении, до здания водокачки и уцелевшего выставочного павильона, представляла из себя не то бивуак, не то ярмарку. На более гладких местах, подальше от гулянья, стояли телеги приехавших из деревень и телеги торговцев с закусками и квасом. Кое-где были разложены костры. С рассветом бивуак начал оживать, двигаться. Народные толпы все прибывали массами. Все старались занять места поближе к буфетам. Немногие успели занять узкую гладкую полосу около самих буфетных палаток, а остальные переполнили громадный 30-саженный ров, представлявшийся живым, колыхавшимся морем, а также ближайший к Москве берег рва и высокий вал. К трем часам все стояли на занятых ими местах, все более и более стесняемые наплывавшими народными массами. К пяти часам сборище народа достигло крайней степени, – полагаю, что не менее нескольких сотен тысяч людей. Масса сковалась. Нельзя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые во рве к обоим высоким берегам не имели возможности пошевелиться. Ров был набит битком, и головы народа, слившиеся в сплошную массу, не представляли ровной поверхности, а углублялись и возвышались, сообразно дну рва, усеянного ямами. Давка была страшная. Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться или даже упасть: лишенные чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках,

они колыхались вместе с массой. Так продолжалось около часа. Слышались крики о помощи, стоны сдавленных. Детей – подростков толпа кое-как высаживала кверху и по головам позволяла им ползти в ту или другую сторону, и некоторым удалось выбраться на простор, хотя не всегда невредимо. Двоих таких подростков караульные солдаты пронесли в большой № 1 театр, где находился г. Форкатти и доктора Анриков и Рамм.

Так, в 12 часов ночи принесли в бесчувственном состоянии девушку лет 16, а около трех часов доставили мальчика, который, благодаря попечению докторов, только к полудню второго дня пришел в себя и рассказал, что его сдавили в толпе и потом выбросили наружу. Далее он не помнил ничего. Редким удавалось вырваться из толпы на поле. После пяти часов уже очень многие в толпе лишились чувств, сдавленные со всех сторон. А над миллионной толпой начал подниматься пар, похожий на болотный туман. Это шло испарение от этой массы, и скоро белой дымкой окутало толпу, особенно внизу во рву, настолько сильно, что сверху, с вала, местами была видна только эта дымка, скрывающая людей. Около 6 часов в толпе чаще и чаще стали раздаваться стоны и крики о спасении. Наконец, около нескольких средних палаток стало заметно волнение. Это толпа требовала у заведовавших буфетами артельщиков выдачи угощений. В двух-трех средних балаганах артельщики действительно стали раздавать узлы, между тем как в остальных раздача не производилась. У первых палаток крикнули «раздают», и огромная толпа хлынула влево, к тем буфетам, где раздавали. Страшные, душу раздирающие стоны и вопли огласили воздух… Напершая сзади толпа обрушила тысячи людей в ров, стоявшие в ямах были затоптаны… Несколько десятков казаков и часовые, охранявшие буфеты, были смяты и оттиснуты в поле, а пробравшиеся ранее в поле с противоположной стороны лезли за узлами, не пропуская входивших снаружи, и напиравшая толпа прижимала людей к буфетам и давила. Это продолжалось не более десяти мучительнейших минут… Стоны были слышны и возбуждали ужас даже на скаковом кругу, где в это время происходили еще работы.

Толпа быстро отхлынула назад, а с шести часов большинство уже шло к домам, и от Ходынского поля, запруживая улицы Москвы, целый день двигался народ. На самом гулянье не осталось и одной пятой доли того, что было утром. Многие, впрочем, возвращались, чтобы разыскать погибших родных. Явились власти. Груды тел начали разбирать, отделяя мертвых от живых. Более 500 раненых отвезли в больницы и приемные покои; трупы были вынуты из ям и разложены кругом палаток на громадном пространстве. Изуродованные, посиневшие, в платье разорванном и промокшем насквозь, они были ужасны. Стоны и причитания родственников, разыскавших своих, не поддавались описанию… По русскому обычаю народ бросал на грудь умерших деньги на погребение… А тем временем все подъезжали военные и пожарные фуры и отвозили десятками трупы в город. Приемные покои и больницы переполнились ранеными. Часовни при полицейских домах и больницах и сараи – трупами. Весь день шла уборка. Между прочим, 28 тел нашли в колодезе, который оказался во рву, против средних буфетов. Колодезь этот глубокий, сделанный опрокинутой воронкой, обложенный внутри деревом, был закрыт досками, которые не выдержали напора толпы. В числе попавших в колодец один спасен был живым. Кроме этого, трупы находили и на поле, довольно далеко от места катастрофы. Это раненые, успевшие сгоряча уйти, падали и умирали. Всю ночь на воскресенье возили тела отовсюду на Ваганьковское кладбище. Более тысячи лежало там, на лугу в шестом разряде кладбища. Я был там около 6 часов утра. Навстречу, по шоссе, везли белые гробы с покойниками. Это тела, отпущенные родственникам для погребения. На самом кладбище масса народа.

## Ураган. В Москве

Вчера, в исходе 5-го часа дня, пронесся над Москвой страшный ураган с грозой и градом, местами сыпавшим величиной с куриное яйцо. Разразившееся бедствие так ужасно, что сразу подробно описать его невозможно. Особенно подверглись несчастью местности Лефортово, Сокольники, местами Басманная часть и Яузская. В Лефортове на улицах

Хапиловской, Госпитальной, Ирининской, Коровьем Броде, Гавриковом пер. и Ольховской улице разрушена масса зданий, домов, поранены и убиты люди и скот. Вырваны телеграфные столбы, полуразрушено несколько домов, повреждены церкви, часовни, у которых местами разрушены купола, поломаны кресты и сбиты церковные тяжелые ограды. Из официальных учреждений сильно пострадали в Лефортове кадетские корпуса, где сорваны совершенно все крыши с частью чердака. Со здания военного госпиталя над всем корпусом сорвана крыша, местами разрушен чердак, унесены бурей деревья; со здания военно-фельдшерской школы сорвана вся крыша, разрушена часть чердака, совершенно разрушен и уничтожен разнесенный ураганом на части летний барак, в котором убит воспитанник школы Панкратов и 5 воспитанников ранено; кроме того, ранен служитель. Обширная Анненгофская роща вся уничтожена бурей и раскидана щепами по окрестностям. Лефортовский сад подвергся той же участи. Здание бывшего Лефортовского дворца также не миновало общей участи: над ним сорвана вся крыша и выбиты окна. Такая же участь постигла Лефортовскую часть – каланча уцелела, а крыши со всех корпусов сорваны и выбиты во всем здании окна.

В один лефортовский приемный покой доставлено 63 раненых и искалеченных, убито также несколько человек, но трупы еще не все подобраны и найдены, а потому количество определить невозможно. Пока в Лефортовской часовне 3 трупа. В Басманную больницу доставлено 30 раненых. Привезены раненые и в Яузскую больницу. Пострадало несколько вагонов конки, извозчиков и убито в роще много окота. В Сокольниках особенно пострадала Ивановская улица, где разрушено несколько зданий, ранено тяжело 7 человек, несколько легко. В течение всего вечера в ближайшую больницу непрерывно доставлялись раненые и искалеченные. Медицинские персоналы работали неутомимо, и многим были деланы сейчас же операции. Пострадавшие местности все время были переполнены массой народа, разыскивавшей в раненых и убитых своих друзей и родных. Убытки, понесенные от бури, как говорят, доходят более чем до 1 000 000 руб.

## Ураган

(Впечатления)

Живя во дворце в Лефортове, императрица Анна Иоанновна однажды сказала:

– Прекрасное место. Вот если бы перед окнами была роща!

Когда на следующее утро императрица подошла к окну, – напротив, где вчера еще было голое поле, возвышалась роща.

Герцог Бирон приказал в одну ночь накопать деревьев, свезти их и посадить рощу.

Так в одну ночь выросла Анненгофская роща. Третьего дня в одну минуту ее уничтожило.

В полночь при ярком свете луны стоял я один-одинешенек посреди этой рощи, или, вернее того, что было рощей. Долго стоял в ужасе посреди разбитых, расщепленных вековых сосен, пересыпанных разорванными ветвями.

Всем приходилось видеть сосны, разбитые молнией. Обыкновенно они расщеплены и переломлены. Всем приходилось видеть деревья, вырванные бурей с корнем. Здесь, в погибшей роще, – смешение того и другого, очень мало вырванных с корнем – почти все деревья расщеплены и пересыпаны изорванными намелко ветвями.

Я стоял посреди бывшей рощи. Среди поваленных деревьев, блестевших ярко-белыми изломами на темной зелени ветвей. Их пересекали черные тени от высоких пней, окруженных сбитыми вершинами и оторванными сучьями. Мертвый блеск луны при мертвом безмолвии леденил это мертвое царство. Ни травка, ни веточка не шевелилась. Даже шум города не был слышен. Все будто не жило.

Вот передо мной громадные разрушенные здания кадетского корпуса и военно-фельдшерской школы с зияющими окнами, без рам и стекол и черными отверстиями между оголенных стропил. Правее, на фоне бледного неба, рисовался печальный силуэт

пятиглавой церкви и конусообразной колокольни без крестов… Еще правее – мрачная, темная военная тюрьма, сквозь решетчатые окна которой краснели безотрадные огоньки.

Я шел к городу, пробираясь между беспорядочной массой торчащих во все стороны ветвей, шагая через обломки. Было холодно, жутко. И рядом с этим кладбищем великанов, бок о бок, вокруг мрачной громады тюрьмы уцелел молодой сад. Тонкие, гибкие деревца, окруженные кустарниками, касались вершинами земли, – но жили. Грозная стихия в своей неудержимой злобе поборола и поломала могучих богатырей и не могла справиться с бессилием.

И кругом зданий корпуса и школы среди вырванных деревьев уцелели кустарники. Разбиты каменные столбы, согнуты и сброшены железные решетки, кругом целые горы свернутого и смятого, как бумага, кровельного железа и всевозможных обломков, среди которых валяется труп лошади.

Проезжаю мимо церкви Петра и Павла, с которой сорваны кресты, часть куполов и крыша. Около военного госпиталя груды обломков. Здания без стекол и крыш, сорвана и разбита будка – квартира городовых, сад фельдшерской школы в полном разрушении. Останавливаюсь у городового. Его фамилия Алексеев. В момент смерча он был на том же месте. Его и рабочего с городского бассейна вихрем подняло с земли и перебросило через забор в сад. Придя в себя, он вытащил из-под упавших обломков забора и бревен молившего о помощи человека. Дальше – госпитальный вековой парк без деревьев: одни обломки. Мост через Яузу сорван. Направо и налево, вплоть до Немецкого рынка. Картина разрушения здесь поразительна. Особенно ярка она с Коровьего Брода, если смотреть от здания Лефортовской части. Направо разрушенный верх Лефортовского дворца, впереди – целая площадь домов без крыш с белеющей сеткой подрешетников, налево – изуродованная громадная фабрика Кондрашова с рухнувшей трубой поперек улицы: проезда нет. Против части стоит без крыши дом Нефедова. Когда сорвало с этого дома крышу, то листами железа поранило прохожих и побило лошадей.

По Гаврикову переулку полный разгром. На переезде Московско-Казанской ж. д. сорвало крышу с элеватора, перевернуло несколько вагонов, выбросило и поломало будки и столбы телефона, а высокий железный столб семафора свернуло и перегнуло пополам, уткнув верхний конец в землю.

Здесь много пострадало народа, особенно извозчиков и рабочих.

И дальше, к Сокольникам и в Сокольниках, та же картина разрушения. С десятками очевидцев в разных местах говорил я, и все говорят, в общем, одно и то же.

В 3 часа ночи я снова поехал взглянуть на картину разрушения при свете просыпающегося дня, начав с Сокольников.

Кладбище Анненгофского бора было ужасно.

Было уже совершенно светло, ветерок шевелил наваленные между трупами старых сосен зеленые ветви.

Окружив рощу и выбравшись на Владимирское шоссе, я остановился у точки столицы, первой принявшей на себя губительный порыв смерча. И пострадавшей больше всех.

Это ряд зданий Покровского товарищества ассенизации.

Бывших зданий.

Теперь от дома конторы, казарм и службы – груды обломков. Впереди сотня бочек, некоторые пробиты воткнутыми в них бурей бревнами, принесенными издалека.

Налево, за канавой, среди обломков Анненгофской рощи, вокруг костра греются рабочие, оставшиеся без крова. Пасется табун лошадей, уцелевших, и валяются убитые лошади.

Близ кучки служащих из-под чистых рогож видны сапоги.

Я попросил поднять рогожу. Передо мной измятый труп человека средних лет, в пиджаке и рабочей блузе.

Челюсти поломаны, под левым ухом в черепе огромная рана. Смерть была мгновенная. Это – слесарь Николай Вавилов, оставивший после себя голодную семью из четырех детей и

беременную жену. Старшей девочке 9 лет.

Кроме него, сильно ранило четырех рабочих, которые отправлены в больницу.

Стоящие передо мной люди первые встретили смерч и спаслись случайно. Все они рисуют одну и ту же картину. Впереди, откуда пришел смерч, широкое поле, за которым верстах в трех село Карачарово и деревня Хохловка.

Несмотря на пасмурное утро, даль видна хорошо, и можно различить разрушенные дома Карачарова и колокольню без креста: его сорвало с частью купола.

Картина катастрофы такова.

Сначала легкий дождь. Потом град по куриному яйцу и жестокая гроза. Как-то сразу потемнело, что-то черное повисло над Москвой… Потом это черное сменилось зловеще-желтым… Пахнуло теплом… Затем грянула буря, и стало холодно.

Так было во всей Москве.

Здесь очевидцы рассказывали так.

После грозы над Карачаровым опустилась низко черная туча. Это приняли за пожар: думали, разбиты молнией цистерны с нефтью. Один из служащих бросился в казармы и разбудил рабочих. Все выскочили и стали смотреть на невиданное зрелище. Туча снизу росла, сверху спускалась другая, и вдруг все закрутилось. Некоторым казалось, что внутри крутящейся черной массы, захватившей небо, сверкают молнии, другим казался пронизывающий сверху вниз черную массу огненный стержень, третьим – вспыхивающие огни…

Эта страшная масса неслась на них, бросились – кто куда, не помня себя от ужаса. Покойный Вавилов, управляющий Хорошутин с пятилетней дочкой и старухой матерью спрятались в крытой лестнице, ведущей в контору. Все ближе и ближе несся страшный шум.

В это время бросились в коридор, спасая свою жизнь, три собаки. Вавилов, помня народную примету, что собаки во время грозы опасны, бросился гнать собак и выскочил за ними из коридора.

В этот момент смерч налетел. От зданий остались обломки. Коридор случайно уцелел. Хорошутин с семьей спасся. А тремя ступеньками ниже, на земле, под обломками в полусидячем положении виднелся труп Вавилова.

И теперь, через 12 часов, на этом месте лужа не засохшей еще крови…

Только спустя долгое время люди начали вылезать из-под обломков и освобождать раненых. Здесь ужасная картина разрушения…

В роще, как говорят, тоже найдутся трупы. Там были люди. Эта роща – неизменный притон темного люда, промышлявшего разбоями в этой непокойной местности.

В 7 часов мы с моим спутником поехали в город и до самого дома не обменялись ни одним словом.

Впечатление ужасное.

## Московские газеты в 80-х годах

Вот я и думаю: какая самая яркая бытовая фигура из московских редакторов газет 80-х годов прошлого века? Перебираю.

Редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков. Вечная тема для либеральных остряков.

Сменивший его С. А. Петровский. О нем говорили только, что он наживал огромные деньги игрой на бирже на акции.

И. С. Аксаков – редактор «Руси». Но, впрочем, это был журнал, а не газета.

В. М. Соболевский со своими «Русскими ведомостями» был популярен только среди профессоров, судейских, земцев и либеральных думцев, но для Москвы не представлял из себя ничего характерного. Писал прекрасные передовые статьи.

Была еще «Русская газета», издавал ее книжник И. М. Желтов, но она скоро кончилась. Да был еще «Московский телеграф» – большая, хорошая газета, но через полгода ее закрыла

цензура.

Н. П. Гиляров-Платонов был неведом для публики, ибо он никогда не выходил из своего кабинета, а популярность его «Современных известий» составляли только два обличителя-фельетониста.

Н. П. Ланин – прекрасный заводчик шипучих вод и никчемный редактор либерального, но скучного «Русского курьера», совсем непопулярного в Москве.

Н. И. Пастухов, который говорил о себе: «Я сам себе предок», – самая яркая фигура. Безграмотный редактор на фоне безграмотной Москвы, понявшей и полюбившей человека, умевшего говорить на ее языке. Безграмотный редактор приучил читать безграмотную свою газету, сделал многих грамотными, приучил к чтению Охотный ряд, лавочника, извозчика, посетителя трактиров. Он единственная яркая бытовая фигура в газетном мире того времени, почему я с него и начинаю.

«Московский листок» издавал Н. И. Пастухов – крестьянин полуграмотный, державший в 60-х годах кабак у Арбатских ворот. Кроме извозчиков, мастеровых и бродяг в его кабаке имела пристанище группа бездомных студентов университета, которым Пастухов покровительствовал, поил, кормил и давал ночлег. В числе этой группы студентов были двое, которые перевернули судьбу Пастухова и из кабатчика сделали потом редактора.

Эти двое были: филолог Жеребцов, работавший в «Русских ведомостях», в то время еще маленькой газетке, издававшейся П. С. Скворцовым и выходившей три раза в неделю, а потом уже сделавшейся ежедневной, – и второй – Ф. Н. Плевако, дававший тогда хронику, впоследствии знаменитый адвокат. Пастухов гордился, что у него бывают писатели, которые, набросав заметки, посылают его относить их в редакцию. Он бегал и относил. Присмотревшись, Пастухов сам стал узнавать происшествия, описывать их, давать свои безграмотные рукописи Жеребцову или Плевако, которые выправляли их и сдавали в печать сначала от своего имени. Студенты кончили курс – Жеребцов уехал в провинцию учителем, Плевако стал адвокатом, а Пастухов кабатчик-меценат прогорел и волей-неволей стал кормиться около газет, сделавшись репортером. До конца своей жизни он был безграмотным, но по добыванию сведений не было ему равного.

Кроме «Русских ведомостей», он работал в «Современных известиях», которые издавал около 20 лет известный публицист и ученый Н. П. Гиляров-Платонов, бакалавр духовной академии, славянофил, сотрудник И. С. Аксакова.

«Современные известия» – как значилось в программе, политические, общественные, церковные, ученые, литературные и художественные, – были тогда самой распространенной газетой и весьма своеобразной: с одной стороны, они блистали яркими политическими статьями, с другой – с таким же жаром врывались в общественную и городскую жизнь. То громили «коварный Альбион», то бочки отходников, беспокоившие по ночам Никиту Петровича, жившего на углу Знаменки и Антипьевского переулка в нижнем этаже, окнами на улицу.

Это был человек именно не от мира сего.

Он спал днем, работал ночью. Редко кого принимал у себя, кроме ближайших сотрудников, да и с теми мало разговаривал. Я только раз был у него, в мае месяце. Он по обыкновению лежал на диване в теплой шапке и читал гранки. Руки никому никогда не подавал и, кто бы ни пришел, не вставал с дивана.

Газета шла хорошо, денег в кассе бывало много, но Никита Петрович мало обращал на них внимания. Номера выпускал частью сам (типография помещалась близко, в Ваганьковском переулке), частью второй редактор, его племянник, Ф. А. Гиляров, известный педагог и филолог. Тоже не от мира сего, тоже не считавший денег.

И шло бы все по-хорошему, да вдруг поступила в контору редакции на 18 рублей жалования некая барынька, Марья Васильевна, – и фактическое распоряжение кассой оказалось в руках у нее. К Никите Петровичу она вхожа стала и его к рукам прибрала. Но надо сказать, что о любовных делах здесь и помину не было. Когда же касса опустела, Марья Васильевна исчезла.

Ее место заступил управляющий Кац, на которого друзья и сотрудники жаловались Никите Петровичу и советовали его учитывать, но Никита Петрович отвечал всем одно и то же: «Ах, оставьте, как это все противно!» И, наконец, кажется в 1887 году «Современные известия» закрылись от запутанных дел. Хотя газета еще шла, но «Московский листок» ускорил ее кончину.

«Московский листок», во главе которого встал Пастухов, вскормлен «Современными известиями».

Пастухов в «Современных известиях» под псевдонимом Старый Знакомый каждую субботу писал московский фельетон, где, как тогда говорилось, «прохватывал и протаскивал» купца и обывателя, не щадя интимной жизни.

Москва читала эти фельетоны взасос.

А по воскресеньям такие же фельетоны, еще более хлесткие, писал под псевдонимом Берендей некто П. А. Збруев, полицейский чиновник.

И эти два фельетониста создавали успех газеты.

Пастухов, кроме того, писал фельетоны с нижегородской ярмарки, где в 1880 году познакомился с гр. Н. П. Игнатьевым, который и разрешил ему, человеку без всякого ценза, за разные услуги, газету.

И еще за полгода почти до выхода «Листка» в «Будильнике» появилась карикатура: едет Пастухов на рысаке, в шубе, на санках. На лошади надпись: «Московский листок», а внизу подпись: «На своей собственной».

И 1 августа 1881 года Н. И. Пастухов выехал.

На своей собственной! Вышел 1-й номер «Московского листка». Фактическим редактором был Н. П. Кичеев, редактор «Будильника», старый литератор, чистый и изящный человек.

На другой день, 2 августа, он меня в саду театра А. А. Бренко, у которой я служил, познакомил с Пастуховым, а тот пригласил меня сотрудничать, и в номере от 4 августа я дебютировал театральными анекдотами, под псевдонимом Театральная Крыса.

Газета печаталась в типографии Погодина на Софийской набережной, близ Б. Каменного моста.

Владелец дома и типографии, маленький человек с большой бородой и в черном сюртуке, Дм. Мих. Погодин, отрекомендовался мне при встрече:

– Дмитрий Погодин. Сын знаменитого историка.

Производил впечатление недалекого, ограниченного человека. Он то и дело прибегал в редакцию, удирая от своей властной жены, которой боялся.

Пока первые дни «Листок» издавался опрятно. Но вдруг Пастухов завел отдел: «Советы и ответы».

Это нечто неслыханное. Например: «Купцу Ильюше. Гляди за своей супругой, а то она к твоему адвокату ластится: ты в лавку – и он тут как тут… Поглядывай». Или: «Васе из Рогожской. Тухлой солониной торгуешь, а певице венгерке у Яра брильянты даришь. Как бы Матрена Филиппьевна не прознала». И весь город грохотал: и Вася и Матрена Филипповна были действительно, их знали и проходу им не давали зубоскалы-купцы, пока сами не попадались в «Советы и ответы».

А попадались очень многие.

После первого же такого появления «Советов и ответов» Кичеев отказался от редактирования, и его место временно занял Игнатий Герсон, маленький сотрудник, у которого визитные карточки были таковы: «Игнатий Герсон. Прозаическое заведение и рифмоплетня». Талантливый автор сценок, но больше юморист, чем редактор.

Герсона вскоре сменил Ев. Ал. Балле. Газета шла ходко, сообщая всякую московскую новость раньше всех других. Репортаж под руководством Н. И. Пастухова был поставлен блестяще. Он облюбовал меня и целыми днями и вечерами, а то и до утра, возил с собой всюду, со всеми знакомил и учил, как и что писать и как добывать сведения. Эта работа увлекла меня, и в первый же год я сделал большую услугу «Листку».

29 июня 1882 года на 296 версте Московско-Курской железной дороги провалился в размытую ночным ливнем насыпь почтовый поезд, и трупы откапывали с глубины 14 саженей.

Я в тот же день был на месте катастрофы, дал на другой день раньше всех газет целый фельетон с подробностями, поразившими Москву, и две недели я прожил в этой могиле, ежедневно посылал корреспонденции о кукуевской катастрофе. Она была под Мценском, в пяти верстах от Спасского-Лутовинова И. С. Тургенева, там жил на даче в это время Я. П. Полонский с семьею и гостил Ев. М. Гаршин, который, приехав на место катастрофы, увидал меня и увез к Я. П. Полонскому, где я иногда и ночевал, а утром уезжал на работу.

Розница газеты возрастала тысячами.

А еще, когда в Орехово-Зуеве сгорела у Викулы Морозова рабочая казарма с народом, я, переодевшись рабочим, два дня пробыл на фабрике и дал две корреспонденции со всеми подробностями и именами погибших, что старались скрыть администрация фабрики и полицейские власти.

И газета получила известность в фабричных районах. Купцы дрожали и трепетали Пастухова.

Потом явился вместо Валле-де-Бара выпускающим номера Ф. К. Иванов, который до самого конца издания, до 1917 года, и был редактором уже измененного тогда «Листка».

Одновременно с Ивановым прибыл из Великого Села, Ярославской губернии, новый сотрудник, сельский учитель А. М. Пазухин, и предложил писать повести и рассказы.

А в это время в Москве издавалась Н. П. «Паниным, гласным Думы и владельцем знаменитого завода шипучих вод, газета «Русский курьер». Газета чистая и самая либеральная. В ней работали В. А. Гольцев и Вл. И. Немирович-Данченко, А. О. Лютецкий и другие либералы того времени.

Пастухов в своей газете жестоко ругал своего конкурента, называя Ланина кислощейным фабрикантом и «Русский курьер» кислощейной газетой.

«Русский курьер» кто-то подвел, напечатав под другим заглавием какое-то известное классическое произведение, а потом П. И. Кичеев, старый журналист, написал и послал, конечно, от чужого имени либеральное стихотворение, которое «Русский курьер» напечатал, – и оно оказалось акростихом «Ланин – дурак».

И «Московский листок» до того был аккуратен, боясь быть одураченным, что когда Пазухин принес в первый раз в редакцию свою повесть, то побоялись ее взять: вдруг краденая!

– А может быть, ты откуда-нибудь ее украл! – так и сказал ему при нас Пастухов.

И заставили его тут же, в редакции, написать на заданную тему рассказ. И он написал «Приезд сельского учителя», который и был напечатан. А затем Пазухин написал сотни сценок и десятки романов из купеческого и крестьянского быта, где всегда правда и добро торжествовали. Его читатели любили – и вторники и пятницы с романами Пазухина печатали газеты больше. По воскресеньям сценки писал И. Ш. Мясницкий (И. И. Барышев, управляющий издательством и домом К. Т. Солдатенкова).

Больше пазухинских романов имел успех только пастуховский «Разбойник Чуркин». История такова: в Гуслицах, а именно в селе Запонорье, проживал разбойник Василий Чуркин. Дело о нем, довольно большое, находилось в уездном полицейском управлении, и исправник Афанасьев, приятель Пастухова, дал ему это дело на дом как материал для очерка. И вот Пастухов затеял написать роман, хотя самый Васька Чуркин далеко не был разбойником, а просто грабил на дорогах, воровал из вагонов и шантажировал угрозами пожаров местных мелких фабрикантов. Он был сослан в Сибирь, бежал, опять принялся за разбой и был убит местными крестьянами в болоте около деревни Заволенье. А Пастухов сделал из него героя-разбойника, так что генерал-губернатор В. А. Долгоруков запретил печатать роман. Я несколько раз по просьбе Пастухова ездил для проверки фактов и для описания местности в Гуслицы, и когда говорил Пастухову, что Чуркин вовсе не интересный тип, он злился и все-таки писал свое.

Особенно подробно давались в «Листке» отчеты из окружного суда. Впоследствии их давала Козлянинова, а в начале издания А. Я. Липскеров, бывший судебный стенограф «Московских ведомостей», тоже человек малограмотный, писавший, например: «одна ножница», «пара годов» и т. п. И Липскерову выхлопотал М. Н. Катков свою газету «Новости дня» в 1883 году.

Пастухов обозлился на нового конкурента и ругательски ругал его, а если кто из сотрудников уходил в «Новости дня», то делался врагом его. Зато было полное ликование, если сотрудник из «Новостей дня» переходил в «Листок». Когда В. М. Дорошевич, почему-то поссорившийся с Липскеровым, пришел к Пастухову, то он такой гонорар ему дал, о каком в России не слыхивали. Впрочем, ненадолго: Дорошевич уехал в Одессу.

Я в 1884 году перешел в «Русские ведомости», и Пастухов дулся на меня, но почему-то все-таки относился ко мне прекрасно и всегда приглашал меня к себе и на свои ежедневные обеды у Тестова.

Впрочем, я давал ему кое-какие мелочи, а когда сотрудничал в «Новостях дня», работал главным образом в журналах: в «Будильнике», «Развлечениях», «Осколках», «Зрителе», а впоследствии печатался и в толстых журналах, – и все-таки с Пастуховым дружил и любил его: безусловно, добрейшей души был человек, готовый помочь нуждающемуся, кто бы он ни был. И помогал не мелкими подарочками, а прямо жизнь человеку устраивал, особенно семейным людям. И все это делал так, чтобы никто ничего не знал. Я мог бы привести десятки случаев, мне известных. И что бы про Н. И. Пастухова не говорили, а я скажу одно при воспоминании о нем:

«Жил-был на свете добрый человек!»

В 1883 году я начал работать по репортажу для «Русских ведомостей». Редакция тогда помещалась в доме Мецгера в Юшковом переулке по Мясницкой. Как раз в том доме, на котором переламывается этот искривленный переулок. Во дворе – типография, а в фасадном корпусе – редакция. Солидная обстановка с огромными, зеленым сукном крытыми, столами, с единственным портретом основателя газеты Н. С. Скворцова.

Тогда уже редактором был В. М. Соболевский, заведующим редакцией был добрейшей души человек В. С. Пагануцци, присяжный поверенный, а в хозяйственном отделе принимал участие его друг А. А. Никольский, которому, собственно говоря, газета и была обязана своим существованием и благосостоянием. После кончины Н. С. Скворцова дела газеты шли туго, она, как говорится, дышала на ладан и погибла, бы, если бы Никольский, юрисконсульт железных дорог, не нашел мецената в лице В. К. фон Мекка, председателя правления Московско-Рязанской железной дороги. Тот сыпнул деньгами, и газета пережила тяжелое время, а там помогла ее дальнейшему успеху В. А. Морозова – и газета расцвела. Вскоре долги все были уплачены и даже приобретены газетой дом и собственная типография.

Еще солиднее обставлена была редакция с рядом отдельных кабинетов и большой редакционной приемной, где перед громадным библиотечным шкафом стоял огромнейший зеленого сукна стол, на одном конце которого важно заседал заведующий московским отделом А. П. Лукин, а в уголке – секретарь редакции, где и принимал он. посетителей. Для вящей торжественности А. П. Лукин над книжным шкафом водрузил большой гипсовый бюст Зевса, найденный на чердаке вновь купленного дома, и, сидя против него, вдохновлялся величием громовержца.

Кроме «Русских ведомостей», где он писал и фельетоны за подписью Скромный Наблюдатель, Лукин вел фельетоны в «Новостях», но только под псевдонимом «XII». Именно двенадцать. Он сам писал их мало, а заказывал разным сотрудникам кусочки фельетонов по разным вопросам и сшивал их вместе, составляя фельетон. Я много зарабатывал у него этим путем, получая 5 копеек за строку.

В московском отделе главными силами были: милейший Ф. Н. Митропольский, ведший заседания Думы и земства, добрейший и невозмутимый неповоротливый толстяк, которого звали «Недвижимое имущество «Русских ведомостей», и я, в противоположность ему носивший прозвание «Летучий репортер». И ту и другую кличку дали нам остроумцы в

типографии. Я вел городские происшествия и, в случае катастроф, эпидемий или лесных пожаров, командировался «специальным корреспондентом» на место происшествий, иногда очень далеко, даже на Кавказ, на Волгу и пр. Увлекшись этим живым делом, я не жалел сил и достиг того, что перебивал славу репортеров «Московского листка» и портил спортсменскую кровь Пастухова, набрасывавшегося на стаю своих репортеров при всяком случае, когда появившееся у меня сенсационное известие просыпал «Листок». Вторым редактором «Русских ведомостей» был незабвенный, милый П. И. Бларамберг. Добрейший человек, прекрасный редактор и известный композитор. Одна из его опер «Тушинцы» шла в Большом театре в 1845 году. «Шестидесятник-идеалист» – так озаглавлен был его некролог в «Историческом вестнике» в 1907 году.

Помню такой случай. Из дома Корзинкина в фирме Бордевиль украли двадцатипудовый несгораемый шкаф с большими деньгами. Кража, выходящая из ряда обыкновенных: взломали двери и увезли шкаф из Столешникова переулка – самого людного места – в августе месяце.

Полицию поставили на ноги, сыскнушка разослала агентов всюду, дело вел знаменитый в то время следователь по особым делам В. Ф. Кейзер, который впоследствии вел дело Ходынки, где нам опять пришлось с ним встретиться.

И никаких результатов!

Прошло недели три – дело замолкло.

Выхожу я как-то вечером из дома – я жил в доме Вельтищева, на Б. Никитской, – а у ворот встречает меня известный громила Болдоха, не раз бегавший из Сибири, громила по специальности.

– Я к вам! Пропишите их, подлецов, господин Гиляровский, в газете.

И рассказал он мне в подробностях до мелочей всю кражу у Бордевиля, как при его главном участии увезли шкаф, отправили его по Рязанской дороге в город Егорьевск, оттуда на лошади в Ильинский погост в Гуслицы, за 12 верст от станции, и по дороге к Запонорье, в кустах, взломали шкаф и сбросили его в речку Гуслицу, у моста, в глубокое место под ветлами. Денег там нашли около 15 тысяч рублей, поделили и поехали обратно, а потом дорогой Болдоху опоили «малинкой», обобрали и в бесчувственном состоянии сбросили с поезда, думая, что он мертвый. Когда же он вернулся на Хитров к организатору кражи, съемщику-капиталисту Золотому, тот сказал, что ничего знать не знает, что все в поезде были пьяны и не видели, как и куда Болдоха скрылся. Свалился, должно, пьяный с поезда, а мы знать не знаем!

И на следующий день в «Русских ведомостях» я напечатал подробнейший рассказ Болдохи с указанием места, где лежит шкаф. Болдохе я верил безусловно.

Через день особой повесткой меня вызывают в сыскную полицию. В кабинете сидят помощник начальника капитан Николас и Кейзер. Набросились на меня, пугают судом, арестом, высылкой, допытываются, а я смеюсь:

– Мои агенты лучше ваших! Кейзер из себя выходит.

– Если это неправда, мы вас привлечем по статьям…

– Пошлите вы прежде ваших агентов в Гуслицы за шкафом.

– А если его там нет, то вы будете под судом.

Я ушел домой, а через два дня мне сообщили, что сыщик Рудников, ездивший в Гуслицы, привез шкаф, и последний находится, взломанный, в сыскном отделении.

Кейзер приезжал в редакцию, но меня не нашел. Уже зимой Болдоха, арестованный на месте преступления, указал всех участников, и дело Золотого разбиралось в окружном суде и кончилось каторгой.

Болдоха успел бежать.

Редакция платила мне 5 копеек за строку, отдельные расходы и 100 рублей в месяц.

Самая первая моя работа, давшая мне успех и положение в «Русских ведомостях», была напечатана в 1886 году. Это очерк из жизни рабочих на белильных заводах под заглавием «Обреченные». В 1873 году я был рабочим на белильном заводе Сорокина в Ярославле, и

там на клочках бумаги, на нарах, в свободные часы я записывал впечатления. Эти клочки послал моему отцу, и они у него долго хранились. Ими-то я и воспользовался для этого правдивого очерка.

Никогда не позабыть мне пережитой мной, начинающим еще литератором, одной беседы в редакции за чаем и вином, где Н. К. Михайловский и А. И. Чупров говорили, что в России еще не народился пролетариат, а в ответ Г. И. Успенский привел в пример моих «Обреченных» и доказал, что первое гнездо российского пролетариата – это белильные заводы. И тогда, рассказывая им свои впечатления из заводской и бурлацкой жизни, я был центром внимания этих крупных людей. И в тот же день мы выпили на брудершафт и подружились с Глебом Ивановичем, с которым я был знаком раньше. А познакомились мы в Чернышах.

Так назывались номера на Тверской в доме Олсуфьева, против Брюсовского переулка. Это, можно сказать, было отделение «Русских ведомостей»: в верхнем этаже этих меблирашек я жил в 1882-83 гг., а рядом со мной жил писатель М. И. Орфанов (Мишла). Живали здесь Ф. Д. Нефедов, Н. М. Астырев, С. А. Приклонский и Г. И. Успенский, и негласно пребывал, ночуя то у Мишлы, то у меня, Петр Григорьевич Зайчневский, тогда только что вернувшийся из каторги, автор знаменитой прокламации в 1862 году, призывавшей идти на Зимний дворец и истребить живущих там.

Еще тогда я водил Глеба Ивановича по трущобам Хитрова рынка – мы ходили вдвоем, и Глеб Иванович, видавший виды в «Растеряевой улице», приходил в ужас от виденного…

Тогда «Русские ведомости» были более демократичны, чем стали впоследствии, с переходом в свой дом. Подробности – в юбилейном издании «Русских ведомостей», где изложена вся история этой газеты, всегда воевавшей с «Московскими ведомостями». «Московские ведомости» была газета слишком известная по своему направлению, и сотрудники ее держались там скрытно и особняком, что из всех их только и появлялся в обществе, т. е., вернее, в театрах и на первых представлениях, лучший критик того времени С. В. Флеров (Васильев). Остальных никто и не видал и не знал. Разве только тогда, когда они появлялись в цензурных комитетах в качестве душителей всякого свободного слова в должности цензоров.

Они-то у меня и сожгли мою первую книгу «Трущобные люди».

Были еще газеты – «Русский листок», начавший издаваться, кажется, Миллером, под названием «Русский справочный листок», потом перешедший к присяжному поверенному, гласному Думы Н. Л. Казецкому и впоследствии переменивший название на «Раннее утро».

Начал я с Пастухова и кончу им.

Раскаиваюсь и сожалею, как я раз обидел Николая Ивановича, и настолько жестоко, что у него слезы на глазах появились.

Н. И. Пастухов, издавая «Московский листок», одновременно во время ярмарки в Нижнем издавал «Нижегородскую почту». Как-то в «Осколках» Лейкина я напечатал шутку: «Цитаты из «Ревизора» нашим газетам». Против «Нижегородской почты» стояло: «Родная сестра тому кобелю, которого вы, наверное, знаете».

Встретил меня у Тестова Николай Иванович, вынул из кармана «Осколки», указал эти строки, подчеркнутые красным карандашом, и спросил:

– Ты?

– Я! Что же, это шутка.

– Шутка. Стало быть, моя «Почта» – сука, «Листок» – кобель, а я-то кто же буду?.. Стыдно, Володя, за хлеб, за соль так… – Слезы на глазах.

– Николай Иванович, я не хотел вас обидеть…

– Знаю, ради красного словца и себя облаешь… Идем селянку хлебать!

Были еще в Москве «Полицейские ведомости», которых никто не выписывал и не покупал.

В 1881 году в Москве была преобразована полиция. Уничтожили прежние кварталы и разделили Москву на 40 участков.

Квартальных переименовали в участковых приставов и дали им вместо старых мундиров со жгутиками чуть ли не гвардейскую форму с расшитыми серебряными воротниками и серебряными погонами с оранжевым просветом.

Это было после 1 марта 1881 года, когда все тщетно ждали реформ.

И по Москве заходили четыре стишка:

Мы все надеждой запаслись –
Вот-вот пойдут у нас реформы.
И что же. Только дождались
Городовые новой формы.

И действительно только. Переоделись старые городовые в новую форму.

Пузатые, небритые квартальные надели почти что гвардейские мундиры, и только некоторые, из молодых, побрились и стали лихо закручивать усы.

Некоторые отпустили бороды по примеру царского двора, где из бакенбардов стали все бородасты: царь носил окладистую бороду.

И, конечно, ставши приставами, квартальные заважничали и подняли тариф: теперь фунтом чернослива или ногой телятины не отделаешься.

– Гони наличные, купить сами умеем!

Отдал я тогда в «Будильник» четверостишие, которое мне показали троекратно и зло зачеркнутым красными чернилами, да еще с цензорской добавкой: «Это уже не либерально, а мерзко!»

А четверостишие было такое:

Квартальный был, стал участковый,
А в общем та же благодать.
Несли квартальному целковый –
А участковому дай пять.

И вот в числе таких квартальных, переодевшихся в гвардейский мундир, был капитан Змеев – щеголь и козырь.

В это время издавались «Полицейские ведомости», в которых только публиковалось о торгах и о пропавших собаках, да еще о сдаче квартир, и которых, конечно, никто не выписывал и не читал.

И вот приставам было приказано понажать на обывателей, особенно на домовладельцев, чтобы они обязательно подписывались.

Капитан Змеев в это время был приставом на Тверской-Ямской, где, особенно переулки, были населены потомками когда-то богатого сословия ямщиков, и вообще торговым, серым по тому времени, людом.

Он поручил собрать подписку околоточным, но безуспешно. Ответы были такие:

– На кой она нам!

– Мы люди неграмотные, газетов отродясь не читали! – и т. п.

И вот в одно из воскресений, после обедни, чуть ли не с городовыми на обширный двор участка были согнаны все домовладельцы.

Поддевки, длинные сюртуки ниже колен, смазные сапоги и картузы – как Дикой из «Грозы» – наполнили двор. Вынесли стол с книгой подписки на газету.

Вышел на крыльцо грозный и блестящий пристав.

– Здравствуйте, почтенные.

– Здравствуйте, вскородие…

– Кто у вас на «Полицейские ведомости» подписался, руку подними.

Поднялись две руки: трактирщик Осипов и лавочник Прокофьев.

– Выходи сюда. Пошли без шапок, дрожат.

– Ну, спасибо вам, молодцы! Можете идти домой! – Даже руку им подал на прощанье.

Обратился к писарю и приказал каждому раздать по газете – кому хватит.

– Здесь, вот видите, на первой странице высочайшие приказы и обязательные постановления напечатаны. Их обязан знать каждый обыватель. Берите газету, располагайтесь на травку и выучите наизусть пока первую страницу. Да чтобы без ошибок был! А кто выучит – пусть доложит мне, я проэкзаменую сам. – И крикнул городовым: – Никого не выпускайте со двора.

Городовые заперли ворота. Пристав важно ушел в канцелярию. Ошалелые обыватели бросились к писарю. Некоторые стали по складам читать газету и заучивать. Писарь предложил желающим подписаться и с квитанцией идти к приставу в канцелярию. Конечно, сдачи с пяти рублей не давал. (Газета стоила 4 рубля в год.) Брали квитанции, шли в канцелярию и исчезали. Некоторые, упорные, пробовали учить заданное, но ничего не выходило. В результате весь участок Змеева подписался на «Полицейские ведомости», а выходившие из аудиенции через парадный ход участка прямо на улицу почесывали затылок.

– Н-да… Что ловко, то ловко, а четвертной в кармане нет.

Помню, и мне, журналисту, раз пришлось участвовать в полицейской взятке.

Приставом 3-го участка Тверской части был долгое время Замайский. Большой театрал, меценат отчасти и очень любезный с представителями печати, которых побаивался.

Было в Большом театре сотое представление «Демона», причем дирижировал сам Рубинштейн. «Русские ведомости» выдали мне 5 рублей на билет и просили дать отчет об этом спектакле. Нечего говорить, что за 5 рублей никакого билета достать было нельзя. Но все же я вошел в театр, где меня знали даже все капельдинеры, и первое действие простоял в проходе при входе. К концу действия вошел Замайский и стал рядом со мной.

– Что же вы не сидите?

– Места нет – не мог билета купить.

– Н-да.

Акт кончился, публика хлынула к выходу, и я тоже. Но Замайский меня остановил:

– Погодите!

Я в недоумении остановился.

Замайский зорко оглядывал проходящих и вдруг поманил пальцем высокого молодого человека, шикарно одетого, в черном сюртуке. Тот вытянулся перед ним.

– Что прикажете, Станислав Фомич?

– В каком ряду сидишь?

– В пятом-с.

– Давай билет.

Франт передал билет приставу.

– П-шел, мерзавец.

Тот нырнул к выходу, а пристав ко мне.

– Вот садитесь, место хорошее, пятый ряд. Я стоял в недоумении.

– Возьмите и садитесь. Будьте спокойны, билет правильный. Берите, – и сунул мне билет в руку.

– Как же это? – удивляюсь я.

– Да вот так!.. Вы знаете, кто этот мерзавец? Карманник это, Пашка Рябчик.

И отчет о спектакле появился только благодаря этому случаю.